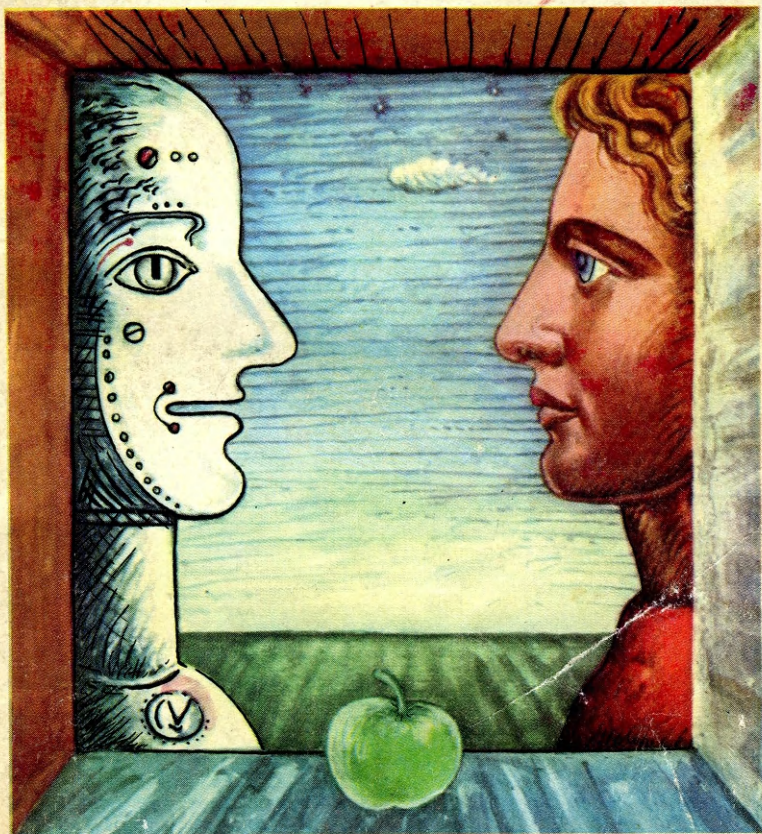


Библиотека советской фантастики

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
РОГ ИЗОБИЛИЯ





БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



Библиотека советской фантастики

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

**РОГ
ИЗОБИЛИЯ**

**СБОРНИК
НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИХ
РАССКАЗОВ**



**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977**

P2
Г83

Г $\frac{70302-329}{078(02)-77}$ без объявл.

© Издательство «Молодая гвардия», 1977 г.

ОБРАЗЦА 1919-го

Эх, расплескалось времечко крутой волной, да с пенным перекатом! Один вал лопнул в кипени за спиной, другой уж вздымается перед глазами, еще выше и круче. Держись, человечиска!

Но как ни держись, в одиночку мало шансов уцелеть. Шквальная ситуация. И крупная-то посудина покивает-покивает волне, глядь, уж нырнула ко дну, с потрохами, с мощными механизмами, со всем человеческим составом. В одиночку, поротно, а то и цельным полком списывал на вечный покой незабываемый тысяча девятьсот девятнадцатый год.

Пообстрелялся народ, попривык к фугасному действию и перед шрапнельным действием страх потерял. Пулемет «максим», пулемет «гочкис» въехали в горницы, встали в красных углах под образами, укрылись холстинами домоткаными. Чуть чего, дулом в окошко, суйся, кому охота пришла. А пуля не остановит, так, ах, пуля дура, штык молодец! Такое настроение.

Что делать, кому богу душу дарить охота? Инстинкт самосохранения. Выживает, как говорится, сильнейший. А кто сильнейший? Винт при себе, вот ты и сильнейший в радиусе прицельного огня.

И так не всегда. Случится, так и организованная вооруженность не упасет от злой беды. Вот тут пятьсот мужиков, один к одному, трехлинейка при каждом, бомба на кожаном ремне болтается, и командир парень что надо, лихой, глаз острый, и своему и чужому диагноз в секунду поставит, да толку-то? С противной стороны штыков раза в три поболе, на каждый по сотне зарядов, и кухня дымит, вон из лесочка похлебкой-то как несет, зажмуришься. Американская тушенка! А тут вот

пятьсот желудков, молодых, звериных и трое суток уж чистых, как душа ангела-хранителя. Защитись-ка!

Пятьсот горластых, крепких на руку, скорых на слово, с якорями на запястьях, с русалкой под тельником — мать честная, не шути, балтийские морячки, серьезный народ, и в душе каждого, над желудочной пустотой, как в топке, ревет одно пламя:

— Вихри враждебные!

Нет, не до шуток нынче. Пятьсот много, а было-то две тысячи штыков, да сабли прибавь, где они? Ржавеют в сырой земле. Пали товарищи на прорыве к новой жизни, остались в жнивье, по болотам, в лесах, на полустанках. Теперь и оставшимся черед пришел. Колчак с трех сторон, с четвертой болото, ложкой не расхлебашь, поштучно на кочках перебыют с аэропланного полета. Велика, как говорится, Сибирь, а ходу нет, хоть тайга за спиной. Встало проклятое болото поперек спешного отступления, как кость посреди горла.

Отрыли моряки поясные окопчики, погрузились в землю, ждут. Вечер на землю пал, звезду наверху вынесло; минует осенняя ночка, а поутру и решится судьба балтийского полка. Плеснут русалки на матросской груди в последний раз, вдали от родной стихии, и камнем пойдут на дно. Ясно.

Без боя швартоваться на вечный причал, однако, никто не собирается. Такого в помине нет. Характер не позволяет. Последний запас — пять сбереженных залпов, гранаты в ход, потом в штыковую на ура — иначе никак.

Вечерняя полутень все гуще наливается синевой, одна за другой прибывают звезды на небесном куполе, чистенькие — заслуженным отдыхом веет с далеких созвездий.

— Хороша погода, — сожалея, вздохнул матрос Федька Чиж со дна окопа. Он устроился на бушлате,

руки под голову, считай звезды. Других интересов не предвиделось.

— Погода хороша, климат плох, — мрачно отозвался комендор Афанасий Власов. — Пора летняя, а тут лист уж сжелтел. Широты узки.

— Перемени климат, Фоня! — крикнул вдоль траншеи наводящий Петька Конев. — Момент подходящий. Поздно будет.

— Да, климат, — сказал Чиж. — Плавал я по Средиземному, вот климат. Вечнозеленая растительность. При социализме, слышал я, братцы, на весь мир распространится.

— Ну, братишка, тропики нам в деревне ни к чему, — резонно возразил комендор Афанасий и хотел было развивать этот тезис, но тут хлопнули выстрелы, сначала ружейные, потом очередь за очередью из пулемета. Народ в цепи поутих.

— Балуют холуи. Патронов девать некуда, — с чувством высказался Федька Чиж и поднялся осмотреться.

— Диаволиада, — озадаченно сказал Чиж, насмотревшись вдоволь, — какой-то тип бродит. По нему целят. А ну, посмотри еще кто, может, мерещится.

Люди зашевелились, многим хотелось посмотреть, как человек гуляет под пулями.

Действительно, неподалеку от окопов какой-то человек петлял взад-вперед, нагибался, приседал и шарил в траве руками, будто делал зарядку или собирал землянику. Иногда он выпрямлялся и неторопливо вглядывался туда, откуда хлестал пулемет.

Матросская цепь поднялась целиком, всем наличным составом, молча ожидая развязки событий. И все же поиски смельчака окончились, видно, успешно.

— И-о-хо-хо! — крикнул он гортанно, извлек из травы какой-то предмет, подбросил его и ловко поймал на лету, после чего еще раз огляделся и пошел, пошел прямо на матросскую цепь. Пулемет, замолчавший было

на перезарядку, затахтел что было мочи, но человек маршировал затылком к нему, не оглядываясь, точно имел бронированный затылок.

Матросы по-прежнему молчали, в упор рассматривая незнакомца. Был он долговяз, но не сутул, одет легко, вроде бы во френч, в движениях точен и свободен. Он как бы примеривался прыгнуть в окоп, но, может быть, рассчитывал и повернуть, а возможно, мог запросто раствориться в воздухе, рассосаться. Предполагать можно было всякое, но в последнем случае все стало бы на свои места — видение, и точка!

— «Летучий Голландец», мать честная! — хрипло сказал комендор Афанасий и перекрестился.

— Интеллигент, так его растак, — пробормотал Чиж, не отрывая глаз от видения, а руки от маузера, и тоже перекрестился. Незнакомец замер прямо напротив Федыки и внимательным взглядом пугал матроса.

— Давай сюда, браток, — осмелев, предложил Федька, подвинулся, и видение одним легким прыжком оказалось в окопе. Тогда матросы, кто стоял ближе, бросились к перебежчику, чтобы увидеть его в окопе лично.

— Большевики? — холодно спросил неизвестный, бесцеремонным взглядом ощупывая людей, точно пришел сюда вербовать самых дюжих и выносливых.

— Большевики, кадеты, сам кто таков? — дерзко крикнул со своего места Петька Конев. — Докладывай!

— Не из тех, не из тех, если быть точным, — корректно ответил пришелец.

— Цыпленок жареный, значит! — раскаляясь, жарко выдохнул Конев.

— Задний ход, мясорубка тульская, — властно осадил комендор Афанасий. — Не у попа на исповеди.

— Гражданин, — строго спросил комендор перебежчика. — С какими делами прибыли?

— Требуется отряд красных. — И всех резанул неуместный глагол «требуется», как из газетного объяв-

ления. — Судя по всему, он окружен, а мне такой и нужен.

— Судя по всему? — комендор значительно выгнул бровь и оглянулся в темноту на товарищей. — Это так, граждане военные моряки?

В цепи молчали.

— А что собирали в траве?

— Прибор искал. Уронил здесь прибор.

Шестым чувством комендор понял, что лучше уж не трогать ему этого прибора, прекратить опрос.

— Вот что, — посомневавшись, сказал он, — Чиж, проводи-ка задержанного в штаб. Доложи.

И двое, балтийский матрос Федор Чиж, другой — совершенно подозрительный человек, растворились в темноте, завершив тем странную сцену. И тогда по окопам зацвели махорочные огоньки, зашумел разговор.

— Вот как на войне бывает, — говорил комендор Афанасий. — Одному и осколка довольно, другому и кинжальный огонь нипочем. Субординация господ бога!

* * *

Ночь легла всей своей погожей, легкой тяжестью на землю. Она опустилась с вязкими ароматами, незябкой поначалу прохладой, выпустила над горизонтом серп месяца, чтобы замедлить биение сердца человеческого, дать покой живому.

Действие ночи не проникло, однако, внутрь командирского блиндажа, хоть и защищал его всего один скорый накат. В клубах едкого дыма махорки, под чадной керосиновой лампой командный состав, видно, уже не первый час колдовал над картой, глотая горячий чай без сахара.

— В ночной бой они не пойдут, — назидательно, будто обращаясь к непосредственному противнику, говорил командир полка, латыш Оамер.

— Потерь больше. Выгоднее с утра.

Он хлебнул кипятка и твердо посмотрел на комиссара, потом на заместителя, желая, чтобы ему начали возражать. Но возражений не было, а комиссар Струмилин даже улыбнулся ему углом рта.

— Даешь полярную ночь, — прохрипел он сорванным голосом. — Ночь тиха, ночь тепла...

Он улыбнулся другим углом рта, но тут закашлялся, и лицо его мгновенно осунулось, поблекло.

— О ночном бое можно только мечтать, — сказал он, откашлявшись. — Предлагаю мечтать на улице, чудесный воздух там...

Тут хлопнула дверь, и под лампой встал матрос Федор Чиж.

— «Языка» привел, — сказал он шепотом, чтобы слышали только свои, и взглядом указал на дверь; и еще дальше, за нее. — Перебежчика. За дверью оставил, на улице, в кустах.

Лицо матроса дышало загадочностью, энтузиазмом, и не сам факт пленения «языка», от которого теперь уже проку ждать не приходилось, а именно эта жизненная энергия, скопившаяся на лице конвойного, пошевелила души командного состава.

— В кустах оставил? — удивился командир.

— Не убежит, — спешно заверил Чиж, прислонил винтовку к столу, а сам сел на скамейку рядом со стаканом чаю.

— Свой человек. Идейный.

Командир, заместитель с сомнением посмотрели друг на друга, а потом вместе уставились на матроса.

— Ты, братишка... — начал было заместитель, но тут в дверь осторожно постучали, и негромкий голос сказал из-за двери:

— Можно войти?

И с этими словами идейный перебежчик собственной персоной объявился в командирском блиндаже.

Нет, никак не походил странный перебежчик на своего. Свои сейчас как один по всей республике, одного оттиска. Лица серые, что непросохшая штукатурка, глаза воспаленные, нервное спокойствие в углах рта, и в теле недостача килограммов на пять-шесть по сравнению с довоенным качеством. Снять с пояса маузер, так хоть иконы с них пиши.

А этот кровь с молоком, щеки лаковые, прямо девушка. Сапоги балетные, вощенные, будто сейчас денщик душу в эти голенища вкладывал. А еще куртка, вроде замшевая, на швах с кокеткою без единого пятнышка.

Командир смотрел на щеголя прищурясь, как в ярмарку смотрят на породистого жеребца. Взгляд заместителя, примеряясь, проехался по шикарной куртке неизвестного и стал бесстрастным, как будто не встретил на своем пути ничего замечательного; предупредим, однако, что глаза его обретали бесстрастность именно в минуты чрезвычайных обстоятельств. Комиссар тоже смотрел во все глаза — весело, как смотрят мужчины на непочатую бутылку первача; будто кто-то пошутил остро, притом непакостно.

Короче, непутевый вид перебежчика поразил присутствующих, и поразил нешуточно. Напротив, субчик джентльменского вида удостоил личности присутствующих вниманием до обидного малым. Окинув всех троих единовременным взглядом, он как бы исчерпал вопросы, естественные при первом знакомстве, и интерес его переключился на скудную, походного качества утварь блиндажа. Молчание между тем вошло в состояние невыносимости.

— Вот, значит, как, — подвел итоги перебежчик. — Небогато.

— Вы, судя по всему, привыкли к более роскошной обстановке, — сумрачно заметил командир. Подозри-

тельные предположения уже кружились у него в голове, и он наконец дал им ход.

— Роскошь? — рассеянно удивился перебежчик. — Я категорически против нее. Лишний вес.

— А мы за роскошь, — строго сказал командир. — За такую, чтоб для каждого. Нужники из золота отливать будем!

— А я слышал, — голландское, кафельное лицо гостя исполнилось хитростью, — что за бедность вы. Чтоб все стали бедными.

От этих белогвардейских слов золотые очки командира, металлическое будущее коих определилось, подпрыгнули; заместитель же, который до последней секунды ничем не выдавал своего отношения к событиям, сделал шаг назад, в темноту, и глаза его загорелись оттуда огнем. Комиссар Струмилин выпустил в сторону этих огней мощную струю табачного дыма и вот что сказал:

— Кто так говорит, отчасти и прав. Пускай мы за бедность. Но «бедность», «богатство» — эти понятия не имеют точного определения. Они существуют только во взаимоотношении. Не так ли?..

Все промолчали.

— Поэму «Кому на Руси жить хорошо» помните?

— Помню! — воскликнул матрос Чиж, который уже опростал первый стакан командирского чая и теперь желал вступить в общий разговор.

— Так вот, — голос комиссара окреп, — вспомните: бедные ли, богатые, а счастливых нет. А потому отбросим на время промежуточные понятия и скажем так: мы за общество, где человек был бы счастливым. А?

И он вопросительно взглянул на гостя. Но тот и глазом не моргнул.

— Вы сможете определить понятие счастья? — гость снисходительно усмехнулся.

Комиссар тоже усмехнулся. А замечали вы? — если

собеседники уж начали усмехаться, оставаясь внешне спокойными, значит, разговор прошел критическую зону и, значит, один из собеседников начал брать верх.

— Ну что же, — глаза комиссара Струмилина смеялись, — начнем. Счастье — такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании идет по его воле и желанию.

Незнакомец теперь в упор смотрел на комиссара, точно тот отсалютовал перед его очами лезвием пашки и бросил ее в невидимые ножны. В правой руке незнакомец держал странную шкатулку, всю усеянную дырочками, ту самую, что подобрал в поле.

— Что это? — спросил командир.

— Орбитальный передатчик, — вскользя ответил незнакомец, не заботясь о доступности сказанного.

— У вас есть еще формулировки? Вы их придумываете? — спросил он тревожно.

— Это Кант. Старина Кант. — И голос комиссара потеплел, как если бы речь шла о его драгоценном живом или мертвом товарище.

— Заметьте акценты: «разумного существа», «все в существовании», «все!», «по его воле». Так вот, мы за счастье. А теперь сами разберитесь в соотношениях с этим бедности и богатства.

— Кант, Кант, — бормотал между тем незнакомец в свою шкатулку, — запомнить, обязательно запомнить, — из чего мы должны заключить, что интеллигентность, в которой заподозрил его Чиж еще в окопе, была скорее всего чисто наносной, ибо даже полуинтеллигент должен бы знать имя великого прибалтийского мыслителя, прахом легшего у руин кафедрального собора в городе, где жители ставили по его прогулкам механизмы карманных и навесных часов и никогда не ошибались.

— Ах, товарищи! — внезапно вмешался заместитель из своей тьмы. — Неправильную линию допроса взя-

ли. Бедность не порок, счастье не радость! Слюни, понимаешь, распускаем. Его, может, и забросили, чтоб он тут дезорганизовывал, зубы заговаривал. А правильная линия — вот она.

Сделав шаг вперед, он оказался у лампы и властно кинул руку вперед, пятерней наружу.

— Документы!

И под дерновой в один накат крышей землянки повисла тишина.

— Документы? — незнакомец явно не хотел понимать, о чем его спрашивают.

— Документы спрашивают, — сказал он в ларчик с дырочками, будто советуясь с кем-то. — Какие документы?

— А вот такие! — страшно вскричал заместитель, чуя, что нет у незнакомца никаких документов, и отработанным движением выбросил руку вперед. В пальцах его белела картонка с крупным, затертым на конце словом «Мандат».

Незнакомец затравленно осмотрел картонку, поразмыслил и нехотя произнес те слова, после которых, собственно, и началась фантастика чистой воды.

— Ну, если точно такой... — Ответным взмахом руки он выдернул из потайного кармана белый квадрат и поднес его к лампе. Крахмальная поверхность предъявленной картонки была девственно чистой.

— Эт-то зачем? — еще не понимая, спросил заместитель.

— Документ, — пожал плечами щеголь-перебежчик, и тут все различили, как на бланке крупно проступило «Мандат», а затем вышли и остальные слова вместе с фамилией обладателя. Но фамилия-то была заместителя!

Короче, в руках замечательного щеголя оказалась копия документа, и какая копия! Лакированная, на александрийском картоне, не захватанная пальцами

караульных. И как только на праздничной картонке вызрела последняя точка, документ пошел по рукам.

— Лихо! — заметил командир, кончив осмотр.

— Лихо! — в один голос подтвердили Чиж и Струмили.

— Лихо-лишенько. Липа, — изумлялся заместитель.

— Теперь далее, — пресекая эмоции, продолжал таинственный плагиатор. — Беру чернила, выливаю на сапог.

И этот чистюля бесстрашно плеснул полсклянки фиолетового состава прямо на белоснежное, в розовых кровеносных кружевах шевро сапога и еще полсклянки на замшевую свою кожанку.

— Пропади пропадом буржуйское барахло, — радостно одобрил Чиж, матросская душа. — Говорил же — свой в доску! — А заместитель, хозяйственный мужик, только крикнул ввиду столь злостной порчи облюбованного добра.

Но нет, не получилась ведь порча народного достояния. Химический состав, как живая ртуть, сбежал по голенищам вниз и лужицей собрался под ногами экспериментатора.

— Не пачкается, не мнется, — рокотал гость тоном коммивояжера. — Пусть никого не смущает мой свежий вид. Весь на самообслуживании. В общем, бросьте сомнения. Перед вами не шпион, не провокатор. Да и незачем к вам шпионов засылать, все известно. Исход решат вот эти батареи.

Он набросал на листе план позиций белых, и все склонились над чертежом.

— Согласуется с нашими данными, — сказал наконец командир и сухо, очень сухо спросил: — Ваше мнение, что ничего поделать нельзя?

— Самим вам ничего не поделать, — взвешивая слова, подтвердил неизвестный, — помочь может только чудо.

— А чудес на свете не бывает, — подытожил командир, воспитанный на отсутствии чудес, и что-то штатское, семейное проступило в его облике, потерявшем на мгновение официальность. Секрета нет, даже министр, охваченный грустью, лишается своей официальности.

— Этого я не утверждал, насчет чуда, — осторожно возразил неизвестный и отпустил комиссару особенный взгляд. — Не говорил.

Комиссар перехватил взгляд неизвестного, выдержал его, и сумасшедшая, нелепая мысль обожгла голову Струмилина.

— Вот что, — сказал он собранию, — времени до утра в обрез. Разойдемся по цепи. А я с товарищем еще потолкую.

И, сгибаясь в двери, люди поодиночке вынырнули из прокуренного блиндажа в ночной воздух осени. Заместитель выманил за собой Струмилина.

— Ты эту гниду к пролетарской груди не пригревай, — люто прошептал он во мраке, под звездами. — Верь моему политическому чутью.

— Ну, ну, — усмехнулся Струмилин.

— С мировой буржуазией, товарищ Струмилин, перед лицом смерти заигрываешь. Не «ну, ну», а мнение свое куда надо писать буду, коли в живых останусь. Запоешь!

— С богом, — сказал Струмилин и шагнул в блиндаж.

Итак, сумасшедшая, нелепая мысль котельным паром ошпарила трезвый ум комиссара Струмилина.

«Этот человек совершит чудо!» — горячо разлилось под черепом комиссара и быстро там затвердело, приняв форму утюга или сахарной головы, словом, чего-то угловатого и вполне предметного.

Убеденный материалист, Струмилин еще и сам не понимал, каким образом он мог войти в столь чудовищ-

ный разлад со всем своим теоретическим багажом. Надеяться на чудо! В цепи его размышлений еще не хватало какого-то важного звена, и, вероятно, в мирной гражданской обстановке отсутствие этого звена пустило бы ход мысли на рельсы другого, короткого пути, в тупике которого состав силлогизмов лязгнул бы на тормозах строкой:

— Человек этот жулик и шарлатан!

Но сейчас, в нервном перегаре, когда часовой стрелке оставалось перейти лишь несколько делений, чтобы замкнуть контакты адской машины смерти, гибели полка — в пороховом пламени и чаду! — чудесные действия незнакомца, необыкновенный вид и многозначительная игра слов взывали не к ходу будничной логики, а к трепетному движению той заветной интуиции, наличие которой не каждый признает, ибо не каждого господь наградил ею.

«Совершит чудо!» — головешкой тлею в угольных бункерах души Струмилина, и, затаясь, он ждал, когда останется с незнакомцем наедине, и вот он вошел в блиндаж, чтобы утвердиться в невероятном предположении или покончить с ним, уйти от щемящего сердце наваждения.

Дверь хлопнула, пламя коптилки легло набок, и тень перебежчика метнулась по стене, будто ее пугнули врасплох или ткнули в грудь. Сам же перебежчик стоял неколебимо в тусклом свете горящего керосина и только шептал в дырочки своей чертовой шкатулки, шептал и прикладывался к ним ухом.

Комиссар прислушался. Тень перебежчика, покачившись, встала на место, и Струмилину почудилось, что это она бормочет призрачные, невесомые заклинания, а сейчас шагнет к Струмилину и скажет в полный голос что-то окончательное, роковое, по-русски. Шаманские, на погребной сырости замешанные слова копила в себе эта шкатулка.

«Не немецкий, — быстро определил комиссар. — Не французский. Не английский. Чешский? Нет».

— Ну... — сказал себе комиссар, поправил пояс, строевым шагом подошел к неизвестному, положил ему руку на плечо, взглянул в упор холодным взглядом, хорошо известным в балтийском полку и за его пределами, а также еще одному деятелю, который вел, вел-таки однажды комиссара под дождичком, вел и ставил спиной к гнилому дубу, матерился и прицеливался...

— Вот что, дорогой товарищ! Помогай, сделай что можешь.

Итак, они замерли напротив друг друга, и зрачки их соединились на одной прямой, на струнной линии, тронь — зазвенит.

— Значит, вы догадались, что я могу помочь? — нехорошо, капризно усмехаясь, спросил неизвестный. Волна злости подкатила к горлу Струмилина. Лицо его дернулось.

— Да не могу я вам помогать. Не велят, — просто-на-человек, — фильм запорем. Мы фильм снимаем, на документальных кадрах. В финале полк красных гибнет. Оптимистическая трагедия. Эффектные кадры. Чтобы найти их, мы сотни витков намотали на орбите, зондировали. Энергии потратили прорву.

— Да снимете еще фильму! Разыграете в конце концов с актерами! — в отчаянии закричал комиссар.

— Не снимаем игровых. Игровой лентой на нашей планете не убедишь. Тошнит зрителя от недовостановленности, от актерских удач. Актер на экране пройденный этап. Для нашей планеты вообще вся ваша жизнь наш пройденный этап...

Глубоко вздохнул от этих слов комиссар Струмилин. Вот оно, недостающее звено логики — «на нашей планете». Из других миров. Жюль Верн наоборот. Из пушки на Землю. Сказка, черт ее подери! Но теперь его интересовала только утилитарная сторона сказки, спасе-

ние пятисот душ полка, позарез нужных революции ребят, чего ради заложил бы он свою душу не тоцко небесной звезде, но и падшему ангелу, самому дьяволу, пади он только с подоблаков на грешную землю.

— А почему такой финал фильмы, с кровавой развязкой? — ровно, овладев дыханием, спросил комиссар.

— А бог его знает. Считается эффектным. Я-то лично специалист по счастливым концовкам. Именно в них я достигаю полного самовыражения. Так нет, послали именно меня. Сказали: «Нужно изобразить смерть через зрение оптимиста».

— Нет, я рад, что послали именно вас, — поспешно заявил Струмилин. — Нам тоже по душе счастливые концовки. А собственно, что у вас за сценарий?

— Сценарий-то роскошный. Переворот в огромной стране. Крушение аграриев. Консолидация тузов зачаточной, но все же промышленности. Движение плебейских масс. Вожди той и другой сторон. Личные трагедии. Исторические решения и ошибки. Взаимосвязанные события в других частях планеты. Батальные эпизоды во всей их красе.

Незнакомец говорил с пафосом и вместе с тем доверительно, как профессионал говорит с равным профессионалом.

— Прodelана колоссальная работа. Многократный зондаж с персональным выходом на Землю, постоянный зрительный контроль важнейших событий с орбиты — в наших руках глобальная картина движения всего общественного процесса. Наш математический автомат произвел нужные подсчеты и построил функциональную модель токов основных событий на ближайшие годы. Выяснилась удивительная деталь — победа революции неминуема.

— Это неудивительно, она победит, руку на отсечение! — перебил комиссар Струмилин, глаза его грозно и холодно сверкнули.

— На отсечение вы предлагаете и голову, не далее как поутру, — ляпнул вдруг марсианин и тут же осекся: таким холодом повеяло из глазниц комиссара. Он кашлянул. — Так вот какие кадры мы привезем домой. Успех обеспечен потрясающий. Тем более что мы совершенно случайно наткнулись на вашу планету. Так сказать, экспромт.

— Зрелище получится грандиозным, — согласился Струмилин, — но дайте же ему счастливый конец! Вы же специалист в конце концов по счастливым развязкам. Не насилюйте себя. Искусство и насилие над художником несовместимы. Организуйте чудо, спасите балтийцев, а потом что хотите, ну, скажем, посетите штаб белых, полковника Радзинского. Чрезвычайно эффектный этюд, уверяю вас, а?

Неземной человек упрямо молчал.

— Да вы хоть представляете, за что сейчас кровь льется? — сердито и устало спросил Струмилин. Ему надоело уговаривать чудака, свалившегося с неба, откуда видно все и вместе с тем ничего.

— С глобальной точки зрения? — учтиво, по-профессорски спросил этот холеный представитель того света. — Ну примерно так. Развитие производительных сил, способа производства вошло в конфликт с общественным укладом.

— Политэкономия! — отмахнулся комиссар. — А кровь, кровь человеческая, сердце, душа живая хомо сапиенса—этих категорий нет в политэкономии,—отчего этот материал идет в смертный бой и чего жаждет?

— Так отчего? — с некоторой угрюмостью спросил пришелец.

— Оттого, что впервые в истории сердце человеческое ощутило реальную возможность идеального общества. Ведь жизнь любого была позорно униженной, либо возвышенной, но преступной в принципе. Еще совсем недавно большинство людей было закрепощено. Власть

вершили лица, которых народ в глаза не видел. А высшие проявления человеческой психики?

Внезапным движением Струмилин бросил руку за спину, будто хватаясь за кобуру маузера, ловко выдернул из полевой сумки растерзанную книжонку и прочитал заголовок.

— «Голод, нищета, вымирание русского народа как следствие полицейского режима», издательство «Донская речь». Лет двенадцать назад эту брошюру можно было купить в любом киоске России, сейчас уникальный экземпляр. Почитайте на досуге.

Повинуясь слову «уникальный», межпланетчик покорно принял подарок и бережно сунул его за пазуху, причем куртка как бы сама втянула в себя экземпляр, и заметьте, ни прорезей, ни щелей в материале видно не было. Недаром замечательная курточка так понравилась заместителю командира, хозяйственному мужику.

— Да, вы уже говорили об обществе, где каждый будет счастлив в соответствии со своей способностью к счастью, — напомнил он комиссару.

— Вот! — подтвердил Струмилин, загораясь, точно будущее уже маячило за хлипкой дверью блиндажа, высунуть только руку наружу, и пробуй на ощупь. Он уже видел это общество счастливых, марширующих навстречу ослепительным радостям земного благополучия, этих гармонически развитых, а потому прекрасных телом и душой мужчин и женщин. Побеждает тот, кто рано встает, — победа за пролетариатом!

— Мы построим такое общество, — трепетно обещал комиссар. — И в нем не будет места монархам, диктаторам, деспотам, самодурам.

Улицей командует уличный совет, городом — городской, страной — государственный совет. Советская власть! — выборная, единая и неделимая. С позором рабского существования будет покончено. Такому не

бывать. И для того мы идем в наш последний и решительный бой!

С каждой своей фразой комиссар испытывал все больший подъем, и вера в справедливость сказанного комком поднималась от сердца выше и выше и уже ключом била где-то в горле, и теперь имели смысл не сами слова, а то, как они были сказаны, — пружинно, на втором дыхании прирожденного трибуна, каким Струмилин и был, на том замесе отчаянности и убежденности, который не раз был брошен в хаос и гул тысячной митинговой толпы, в поле, колосющееся штыками, и направлял острия штыков в одну точку, как магнитный меридиан правит компасную стрелку точно на полюс. И будь сейчас перед Струмилиным пусть даже не один заезжий с далекого нам созвездия, а хоть сотня таких молодцов, заряда комиссарской души хватило бы, чтобы электрический ток побежал в хладнокровном сердце каждого из них, и вера комиссара вошла в сердце каждого, и каждый бы сказал:

— Прав товарищ Струмилин!

Крутой лоб комиссара покрылся холодным потом, скулы заострились, но в глазах по-прежнему качались язычки ледяного огня, а взгляд уходил далеко, сквозь единственного слушателя, тянул след как бы поверх голов невидимого собрания, так что марсианин скрипнул лаковыми сапогами, повернулся и удостоверился, нет ли кого еще позади. Но нет, никого не было...

— Неужели снимали? — удивился Струмилин, приходя в себя.

— Все снимается, что вокруг. Все. Съемочная аппаратура — вот она, — удовлетворенно оскалился кинооператор и потрепал материал куртки. Комиссар еще раз внимательно посмотрел на нее, подумав, что неплохо было бы такую штуковину презентовать Академии наук, что с такой курточкой не один сюрприз можно было бы ткнуть в нос мирового эмпириокритицизма.

— Да, у вас программа-максимум, — сказал марсианин, возвращаясь к главному разговору. — Нам для подобных результатов понадобилась эволюция и жизнь многих поколений.

— Так то же эволюция. Э-во-люция, дорогой ты наш товарищ с того света! — загремел жестяным смехом Струмилин. — А у нас революция. Разом решаем проблемы. Оптом и в розницу.

— Нелегко вам будет, ох нелегко, — сочувствовал нашим бедам гость и с острым любопытством глядел на комиссара, как бы ожидая от этого человека, сбросившего с лишним весом и все сомнения, новых откровений, качеств, завидных оттого, что их нет в себе самом. — Ведь это то же самое, что разобрать на части, скажем, паровоз и из полученных частей пытаться собрать электровоз — машину, принципиально новую.

— Превосходно! — азартно крикнул Струмилин. — Разбираем паровоз, плавим каждую деталь и из этого металла куем части электрички. А кузнецы мы хорошие. И дух наш молод. Вводим в вашу же технологическую схему элемент переплавки — и точка! Недаром и по вашим же расчетам наше дело победит.

Глаза комиссара Струмилины весело сияли, он знал силу своей полемической хватки, знал, когда пускать на прорыв весь арсенал отточенной техники диалектика, и чувствовал, что еще несколько удачных приемов, и он выйдет с чистой победой, и теперь он прямой дорогой вел оппонента к месту, уготованному для его лопаток, как профессиональный борец, чемпион ковра ведет противника, не прикасаясь к нему, на одних финтах искусственного боем тела, ведет в угол, из которого единым броском метнет его в воздух, чтобы, не бросив даже взгляда на поверженного, в ту же секунду сойти с ковра.

— Переплавка — хорошо, — соглашался представитель академического понимания хода истории. Его взгляд по-прежнему фиксировал линию каждого жеста

Струмилина, а шкатулка всеми своими дырочками глядела прямо в рот комиссара.

— Но ведь плавиться в огне придется прежде всего человеческому материалу. А в паровозной топке он не холодно.

— Дорога в рай всегда шла через пламя ада, — отрубил комиссар и богохульно усмехнулся, щедро, от уха до уха, улыбкой, от которой сам сатана, хозяин этих неисповедимых троп, подобрел бы к путникам, рискнувшим на подобный маршрут.

— Ну хорошо, — сломался наконец марсианин, — сейчас посмотрим, как вы лично пройдете через огонь, воду и медные трубы. Дайте-ка сюда руку.

Струмилину повиновался, ладонь его легла на дырочки все той же шкатулки, осязая электрическое покалывание в сечении, величаемом хиромантами линией жизни. Потом покалывание исчезло, и как раз в этот момент марсианин сказал:

— Все! Информация о вас передана куда надо, согласуется с данными глобального характера, войдет в решающее устройство, и тогда внимание!

Комиссар, твердо неверующий в личные предсказания человек, почувствовал, как забилося его сердце, и молча поднял глаза вверх, туда, где в невесомости вселенной равнодушная машина взвешивала на свой лад его линию жизни. Тут ларчик засипел, осветился фиолетовой вспышкой, и прорицатель прильнул к нему ухом.

— Есть информация! — воскликнул он радостно. — Слушаю. Что? Песни о нем слагать будут? Афоризмами ставит в тупик западную дипломатию? Что, что? Пропадают коэффициенты? Предохранитель сгорел?

Улыбка сползла с тугих, свежих, как пирожки от Елисеева, щек марсианина.

— Коэффициенты пропадают. Техника барахлит, — досадливо сказал он. Ему, видимо, было стыдно за то,

что безукоризненная марсианская техника внезапно ударила в грязь лицом на глазах представителя иной цивилизации. Комиссар же, напротив, обрадовался оплошности, ибо с ней к нему возвращалось моральное превосходство, завоеванное в диспуте, господствующая высота, покидать которую не следовало.

— Черт с ними, с личными коэффициентами, — поспешно заявил он, пользуясь минутой смятения, — поговорим об общих. Подумаем лучше, как перекроить финал вашей пьесы. Так, чтобы не пришлось гибнуть балтийским морякам на потеху кинозрителей. А?

Марсианин вздрогнул. Резко, очень уж резко повернул комиссар от личного к общественному, к конкретным мероприятиям.

— Ну, дорогой товарищ по счастливым развязкам, даешь соответствующий финал!

И с этими лобовыми словами комиссар наложил руки на плечи всемогущего перебежчика, качнул его к себе, и так они замерли друг возле друга.

— Ну, демонстрируй профессиональные качества, чтоб ахнул зритель. И тот, — комиссар ткнул перстом вверх, — и этот самый. — Палец очертил полную окружность. — А потом прямым ходом в штаб белых. Историческая выйдет сцена. Вот где страсти разыграются. Эх!

— Крупные планы из штаба белых, — печально сказал марсианин, будто ему подсунули на подпись приказ о выговоре самому себе.

* * *

Многотруден путь факта в глупый мозг человека, да, многотруден. Факт движется, и остановить его движение нелегко.

Чтобы доказать неоспоримость одного свидетельства, факта, требуется обосновать десяток предваряю-

щих документов, каждый из коих просит своего десятка источников, подлежащих проверке.

Кривая необходимо-доказательств, говоря языком математики, уходит по асимптоте в бесконечность. Вынесет такая кривая в бесконечность, а уж обратно ходу нет. Вакуум.

На месте Струмилина, пожалуй, любой из нас устроил бы разговор вокруг фактов, проявленных в тайной беседе с перебежчиком. Размахивал бы руками, божился, требовал серьезного отношения и в конце концов сам перестал бы верить собственным показаниям. Струмилину же нет. Он знал призрачную природу фактов, знал, о чем делиться с ближними, а о чем крепко молчать — день, год, потребуется — всю жизнь. И потому вернувшиеся в блиндаж товарищи застали его как ни в чем не бывало склонившимся над картой, на которую уже никто без отвращения и смотреть не мог.

— Ну, что перебежчик? Есть интересные показания? — спросил командир, устало устраиваясь на дощатый топчан.

— Послал его в цепь, поднимет настроение у состава. Поговорит по душам о будущем.

— Он там такую агитацию разведет, — сквозь зубы процедил заместитель, — недорезанный.

— Он астроном, — веско возразил комиссар, — редкий специалист по жизни на других планетах. Он расскажет о братьях по разуму, которые уже пролили кровь за счастливую жизнь, такую, какая будет у нас.

— И это неплохо, — сказал командир. Бодрости в его голосе не чувствовалось.

— И еще, — тихо добавил Струмилину, — кажется, следует на всякий случай повозки запрячь. Раненых приготовить к дороге. Ручаться не могу, но непредвиденности могут возникнуть. Знаете, случаются такие непредвиденности в теплые летние ночи с чистыми звездами на небе.

Все с величайшим любопытством уставились на комиссара, но тот ничего добавить не мог, ибо в самом деле ничего не мог добавить.

И действительно. В перелеске, под разлапистым хвойным навесом, на душистых мхах, в бликах каминного цветения угольков с пеплом, марсианин, которому не посчастливилось родиться на благословенной Земле, уже развернул натуральный доклад о жизни иной, делился впечатлениями.

Такое накатило время на Россию, слушала Россия всякого, лишь бы за словом в карман не лез. По царской воле, под влиянием исторических факторов так уж произошло, что с седых времен Великого Новгорода не собиралось в России вече, отсутствовал свой Гайд-парк, кратко говорил народ, на бытовые темы, чтоб в кутузку не загреметь. А тут прихлопнуло, повыврастали откуда ни возмись ораторы на каждом углу, повывалялись бочки, стали на попа трибуну, завился веревочкой мудреный разговор. Хоть к лобному месту с плакатом становись, руби правду-мать в глаза, возражений нет!

Вмиг научился народ речи говорить и слушать их полюбил. И тут же стал различать: кто свой, а кого — в доски! И ежели свой, выкладывая соображения за милую душу о земле, хлебе, недрах и власти над ними, а хочешь, о звездах, над которыми пока власти нет. Но о звездах, понимаем, не каждый толковать смел, и тому, кто смел, внимали с двойной порцией сочувствия.

— Удивительными показались бы вам порядки на этой планете, — ронял слова беглый астроном, будто и не имел к этой планете отношения, не оставил на ней своего дома. — Многие называли бы вы непонятым, а то и чуждым. И жителей планеты той нельзя винить в этом,

как нельзя винить внуков ваших в том, что им захочется иного, чем вам, большего.

Понять вас ничего не стоит, задним-то числом! А вот вам их! Но желательно: пример поучительный...

— Чем же они нам пример? — с ухмылкой врезал матрос Конев Петька, который не сумел насолить перебежчику в первом его явлении, но не терял, видно, надежд проявить буйную свою индивидуальность и посадить фраера на мель по самую ватерлинию аж. Разутые ноги Петьки отдыхали у самого пепелища, и когда угли разом наливались огненным соком, как электрическая рыба, тронутая свежей струей, то на чахлах щиколотках Петьки можно было различить татуированный узор взрывчатых слов.

И, ввязываясь в дискуссию, Петька закатывал трепаный клеш, предъявляя тем свои права на повышенную дерзость и как бы спрашивая: ну а что у вас, дорогие граждане, под покровом брюк отредактировано? Еще неизвестно что!

— Да нет же, — тоскуя, возражал перебежчик, — не навязываю я вам личных примеров. Личные примеры действены только для тех, кто ищет их.

Марсианин стыдливо улыбнулся Петьке, извиняясь перед ним за отсутствие полемического настроения. Мол, не могу, Петька, с тобой единоборствовать, слаб, прости уж. Извинившись столь деликатно, докладчик тягуче уставился Петьке в глаза, прилип взглядом к днищам его глазных яблок, шепнул что-то, сделал в воздухе рукой пас, и заноза Конев вдруг уловил электрическое покалывание в суставах, а в сердце мякоть, невыразимое расположение к окружающим, и прежде всего к докладчику, будто тюльпан раскрылся в поросшей бурьяном душе, и тогда он опрокинулся в мох, сонно шепча:

— Хорошо, хорошо...

— Ну так вот, удивительной бы показалась вам эта

планета на первых порах, — продолжил на редкость обходительный лектор. — Города там, например, подвешены в воздухе, высоко над землей, а прямо под городами леса, травы, озера. Так что кому на землю захотелось, тот достает крылья и кидается головой вниз. Или нанизывается на магнитную силовую линию и скользит, как по перилам. По таким, знаете ли, материализованным меридианам, морьям это должно быть понятно.

— А деревни? Деревни тоже на воздушях? — беспокойно спросил кто-то, несомненно землепашествующий.

— Деревни оставлены на земле, — заверил лектор. — А вот сами крестьяне тоже обитают, как вы говорите, на воздушях. Вернее, крестьян как таковых нет, есть только специалисты по сельскому хозяйству, их там и называют крестьянами. Все растет само по себе и убирается само умными машинами. Собственно, не только крестьян — пролетариев тоже нет уже. Говорят же вам, станки обходятся без людей.

— Как же так? Ни крестьянства, ни пролетариата. Кто же там тогда? Буржуи одни? В чьих руках власть? — недоверчиво спросили из кустов, и по тому, как зашевелилась вокруг темнота, пришла в беспокойство человеческая масса, марсианин догадался, что вторгся в заповедные моменты жизни этих людей.

Зашумела темнота вокруг на разные голоса:

— Без диктатуры куда ж! Паразиты расплодятся, мироед за глотку возьмет! Мужики долг сполнять забудут, в кабаки порхнут! Факт! Факт!

— Без паники, граждане! — накрыл гвалт трубный глас комендора Афанасия Власова. За неимением председательского колокольчика комендор, когда надо, пропускал сквозь мощные заросли голосовых связок струю пара, сжатого до нескольких атмосфер в оркестровой яме его объемистых легких, и тогда накат низкой, но чрезвычайно широкой звуковой волны выносил

вон плескание человеческой речи, закрывая таким способом разгулявшееся собрание или, наоборот, открывая перед ним фарватер, вновь чистый, как гладь океана после мгновенного урагана тропиков. — Тихо, граждане! Все правильно товарищ излагает. Бесклассовое общество, слияние умственного с физическим. Теорию, братишки, подзабыли, брашпиль вам в форточку!

Марсианин, надо сказать, прямо расцвел ввиду такой кинематографической сцены.

— Вот они, типажи! Вот они, кадры. Вот они, личные контакты! Ай-яй-яй! — вскрикивал он радостно, тверже сжимал в руке драгоценную шкатулку, и под сердцем его тоже открывались лепестки нежного цветка, примерно такого же, что качался на тонком стебле в душе предавшегося счастливой дремоте Петьки-моремана.

В общем, как видим, повезло всем. Профессиональному марсианскому кинооператору потому, что он с ходу влетел в митинговую гущу беззаветных героев собственного кинофильма и крупный план, кадр за кадром, косяками шел теперь на катушки приемников корабля, тормознувшего среди звезд по поводу такой сюжетной находки в точных координатах действия данного рассказа. Повезло и балтийцам, которые сразу из первых рук, так сказать, самотеком получили известия о замечательной жизни на других мирах, в существовании которой хотя никто из них и не сомневался, но все же иной раз проявлял колебания ввиду неясной постановки вопроса со стороны административных кругов. А тут вдруг стопроцентный астроном с наипоследними, как подчеркнул комиссар Струмилин, и обнадеживающими данными в кармане! От такого вылетит из башки и страх перед смертью, что уже заказана, запрессована в нарезные стволы озверелого противника на дистанции прямой наводки.

Прав, прав, как всегда, оказался комиссар Струми-

лин. Задал-таки подпольный марсианин морячкам тонус, который вовсе не каждый обнаруживает в себе перед лицом неповторимой смерти, не чьей-нибудь, а собственной, а потому особо наглядной и убедительной. А тонус есть, значит, дорого, ох дорого заплатит классовый враг за кровь комиссара и товарищей его, потому что в крови этой вскипела вера в новый мир и счастливаю звезду его, на которой, как оказалось, тоже летели наиболее сознательные головы братьев по разуму, и по-другому быть не могло, иначе какие же они, к черту, братишки.

Между тем сгусток влажной тьмы, во всем объеме своем именуемый полночью, скатился с восточных широт планеты и теперь клубился над болотами, замкнувшими наш отряд, клубился, опутанный слабыми струями воздуха, которые медленно, но верно волокли емкое тело ночи еще дальше на запад, путаясь в макушках вставших плечом к плечу мачтовых лиственниц. Костер все еще шевелился, ворочался в коротких, как римский меч, языках пламени, рукоятью всаженных в каленое пекло углей.

Представление, начатое марсианином с легкой руки комиссара Струмилина, по-прежнему продолжалось. Ему вполне удалось удержать свое реноме в рамках лектора-эрудита, не расширяя этих рамок до истинных размеров оригинала, так что ни одна живая душа по-прежнему не догадывалась о его подлинном происхождении. Впрочем, никому теперь и дела не было до его происхождения, как и до ворона, что где-то вверху хриплым карканьем отметил приход глухого часа полуночи. Представление только приоткрыло начало своей какой-то главной интриги, и никому не хотелось, чтобы оно внезапно, как в театре, оборвалось, когда по всему было видно, что в запасе главного действующего лица —

рассказчика — таится такое количество фактов и наблюдений, которых хватило бы не на одну драму идей и сердец.

Марсианин успел поведать о занятиях на дальней планете, об отдыхе на ней, о насыщенном распорядке дня, показал, как танцуют наши сверхдальние сородичи, высоко подпрыгивая и чуть зависая в воздухе, — коснулся тех вещей, что делают жизнь марсиан счастливой, и, чтобы до конца быть правдивым, перешел теперь к минутам, когда марсианину бывает нехорошо. Такова уж, видно, биология всего живого, не может оно быть счастливо без конца.

— Вот просыпается он утром, — говорил марсианин, — и чувствует: нет настроения, пропало. Жить не хочется. Переутомился, что ли?

Одевается, выходит на площадку, хорошо кругом. Солнце сияет, птица садится на плечо, ветерок. А под ногами, глубоко внизу, пенится морской прибой у кромки золотого пляжа. Надевай крылья — головой вниз! А может, без крыльев? Головой вниз, и делу конец. О-о, как скверно на душе!

Друзья! Да где они, друзья? Какие скверные рожи кругом! Жена? Да чем же она может помочь, жена? Что значит для нее то, от чего сжимается сердце специалиста по счастливым концовкам? Что там у нее на уме?

К черту, хватит, в иные миры, туда, где счастливые развязки без фальши! На ближайшем корабле!..

Вот как худо бывает марсианину. Печальный, грустный такой бредет он по улице, от дома к дому, да что ему чужие дома?

Так сообщал марсианин о бедах, хорошо известных и нам, людям. Неизвестно, чем оканчивалась эта его грустная новелла, так как посреди ее у костра появился комиссар.

— Товарищи, — сказал он, — собрание необходимо закрыть. Прошу вас занять свои боевые позиции.

Погруженные в яркие картины чудной жизни великой планеты, матросы, придерживая оружие, поднялись и один за другим растворились в ночи.

— Вот, — сказал комиссар, убедившись, что у костра никого не осталось, — подбросили, гады, записку. Обещают шомполами всех, кто в живых останется. Так сказать, программное заявление. Так сказать, они не слушают, позвольте вдарить.

— Дайте бумажку, — потребовал марсианин. Он повернул ее текстом к огню, просмотрел, потом текстом же прижал к куртке.

— Крупно, — сказал он в микрофон. — Дайте это крупно... Как подбросили записку? На кого падает подозрение?

— Подозрение падает на того, на кого ему легче всего упасть, — усмехнулся комиссар, глядя куда-то в сторону от марсианина.

— На кого легче, — соображая, сказал марсианин и пнул носком шикарного сапога чадящую головешку. — Значит, на меня.

Он даже не взглянул на комиссара, чтобы проверить свою догадку. Струмилин молчал.

— На мне оно не продержится, обвинение. Я решил. Я выведу отряд из болот. Так я решил, пока мы тут беседовали с вашими товарищами. Они мне по душе. Я сделаю это, и настроение мое, черт возьми, наконец вернется ко мне.

Когда я улетаю от своих, — марсианин ткнул пальцем вверх и быстро отдернул руку, точно ожегся о что-то, — когда я улетаю, настроение у меня было висельное. Я его поставлю на место. Я посчитаюсь с их настроением. — Палец его снова взвился вверх. — Оптимистическую трагедию вам подавай? А поцелуй в диафрагму не хотите, уважаемые зрители! Программное же

заявление предадим углям. Как это у вас там сказано, из пепла возгорится искра?

Скомканная бумажка порхнула над россыпью тусклых огоньков и тотчас обратилась в длинный и чистый язык пламени. В коротком свете Струмилин увидел, как губы марсианина сложились в твердую и мстительную усмешку, какая бывает у безоружного, уже оцепленного врагами и вдруг почувствовавшего в руке холодную сталь револьвера.

— Пора, — приказал марсианин, — в штаб!

На краю болота было не столь темно, как под хвойными покровами леса. Там тьма была материальна, так сказать, очевидна. Кроме нее, ничего не существовало там, только звуки. Здесь же, на краю свободного пространства, тьма наполнилась намеками каких-то контуров, голубоватыми залежами света, осевшего с кривого и тонкого лезвия месяца.

Полк, поднятый по тревоге и в полном составе построенный в колонну, замер перед лицом необъятных трясин. Шеренги, плотно собранные одна за другой, едва угадывались в пыльной осыпи звездного сияния, стояли призрачно, как воинство из баллады, что ждет не дождется полночного смотра любимого императора, являющегося из распахнутого гроба. Только иногда идиллия нарушалась: где-то скрипела телега, лошадь пыталась ржать, и тогда слышался сдавленный матерный шепот, вразумляющий непокорное животное.

Штабные, комиссар Струмилин и марсианин расположились неподалеку от колонны, уже в самом болоте, так что под ногами квакала и вздыхала, отпуская сапог, мясистая жижа.

— В моем распоряжении имеется особая сила, такое силовое поле, вроде электромагнитного. Как бы гравитационное поле, — объяснял марсианин Струмилину.

Остальные тоже слушали крайне внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова перебежчика.

— Так вот, это поле окружает меня со всех сторон. Ни пуля, ни осколок не пройдет через невидимую защиту. Вот смотрите, я расширяю сферу действия поля.

Мягкая сила потащила людей в разные стороны, и не так, как тащит полицейский, с треском за шиворот, а как влечет крупная и ленивая морская волна.

— А теперь наоборот, — негромко сказал марсианин, и та же сила поставила людей на прежние места.

— Вот эта сила ляжет вам под ноги через болото. По этой дорожке вы проследуете километра три через самую топь, а дальше и сами выберетесь, не маленькие. Там уже можно. Все ясно?

Все молчали, потому что ясного было мало.

— Ну! — пронзительно крикнул марсианин.

Тонкий луч, шипя, скользнул поверх окошек стоячей воды, от которой тотчас повалил густой ядовитый пар, и в клубах пара высветилось тонкое, как папиросная бумага, полотно обещанной дороги. Захрапели кони, закричали ездовые. Только полк по-прежнему молчал.

Струмилин, не оглядываясь, шагнул к прозрачной ленте, поставил на нее ногу, пробуя каблуком на крепость, а потом прыгнул и, осыпанный искрами, оказался на ней во весь рост.

— А кони не провалятся? — спросил кто-то надухом марсианина.

— Позаботьтесь, чтобы немедленно началась переправа, — отрезал перебежчик. Через минуту рядом с ним никого не осталось. Полк глухо заворочался в темноте, перестраиваясь в походные порядки, и вот уже первое отделение встало у самого края лунной дорожки, пропуская вперед себя повозки с ранеными, походные кухни, прочую колесную подвижность.

— Давай, давай, — шептали сами собой губы марсианина в спину уходящих людей.

— Попрощаемся, — сказал голос Струмилина, совсем рядом в темноте.

Марсианин вздрогнул. Они подошли к краю полотна.

— А для себя-то этой энергии останется? — спросил комиссар.

Марсианин промолчал.

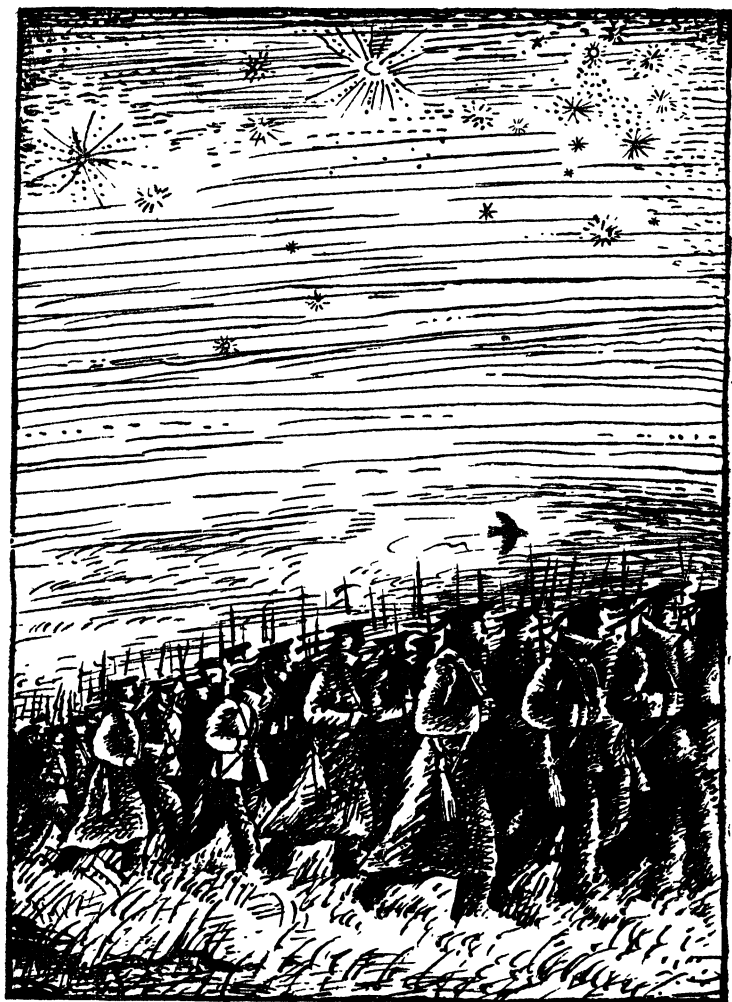
— Ну, руку, товарищ! — сказал комиссар. Последний из отрядов скрывался в клубах дымящегося болота. И взгляды их встретились последний раз в этой жизни.

Рано утром, после сильнейшего артиллерийского обстрела, части белогвардейцев рота за ротой вошли в зону, еще вчера удерживаемую полком балтийцев.

Под барабанный бой, с развернутыми знаменами наперевес, с щеголеватыми молоденькими офицерами впереди, готовыми схватить пулю в живот, — ах, чубарики-чубчики, за веру, царя, отечество и другие опустелые, как дома в мертвых городах, идеи — двигались плотные каре, одетые и обутые на английский манер. Вот так, с барабанным боем и уперлись в край трясины, не встретив никакого противника. На том этот маленький эпизод великой эпопеи гражданской войны и получил свое окончание.

Разумеется, факт необъяснимого исчезновения крупного соединения красных вызвал определенную растерянность в штабе золотопогонников. Ни одна из гипотез не могла толком объяснить, каким дьявольским способом сумел противник организовать марш через гиблую топь вместе с ранеными и обозом.

— Это все штучки комиссара Струмилина, — говорил полковник Радзинский за самоваром офицерам, приглашенным на чай. — Как же-с, личность известная. Удивительно находчивая шельма. Трижды с каторги бежал, мерзавец, из этих же краев. Накопил опыт.



А в прошлом году, господа, обложили его в доме одного. Так он, сукин сын, умудрился первым выстрелом нашего боевого офицера штабс-капитана фон Кугеля, царство ему небесное, успокоить. И в ночной неразберихе, господа, верите ли, взял на себя командование этими олухами, что дом обложили. Ну, конечно, дым коромыслом, пальба, постреляли друг друга самым убедительным образом, смею вас уверить. А самого, канальи, и след, конечно, простыл. Вот и теперь...

Тщательный осмотр брошенного лагеря ничем не помог в расследовании обстоятельств дела. Ни раненых, ни живых, только один труп, брошенный взрывной волной далеко от землянки, обратил на себя недолгое внимание дежурного офицера прекрасным покроем одежды и белоснежными, модельной работы сапогами.

— Закопать, — равнодушно приказал офицер, и приказание его было немедленно исполнено.

Вот такими и получились финальные кадры многосерийной художественной хроники, скроенной на потребу марсиан по жестокой модели оптимистической трагедии. Безрадостная могилка, выдолбленная в вечной мерзлоте, молодцеватый офицер около, а в могилке сам режиссер фильма, марсианин образца 1919-го.

Приходится не сомневаться, что доставленная по месту назначения лента имела громадный коммерческий успех. Как ни надоели марсианам ловкие сюжетные находки деляг от искусства, такой сильный художественный прием не мог не поразить их пресыщенного внимания. Ведь далеко не каждый из режиссеров посягнет на собственную жизнь ради того, чтобы в сюжете все шло по его собственному желанию, и, уж конечно, не жертвуют ею как раз те, чья смерть и не вызовет в наших сердцах какую-нибудь печаль. Искреннюю, разумеется. Тут нужен особый размах души, яркое понимание счастья.

Как это объяснял Струмилин марсианину? Счастье...

такое состояние... когда все по своей воле, по своему желанию. Кажется, что-то вроде этого. Вот и завернул товарищ марсианин фильму по своему желанию. Криво так усмехнулся в диафрагму своим бывшим приятелям и отдал концы. Что, мол, желали полюбоваться, как пятьсот чужих людей кровью обливаются, а не желаете ли взглянуть, как всего один с жизнью простился, один, да зато плоть от плоти ваш брат, такой же марсианин?!

Между прочим, заключительные кадры, если их не урезали там, в высших мирах, должны были бы отчетливо передать еще один психологический феномен. Печаль, от которой марсианин не мог оторваться даже на скоростях межпланетной ракеты, бесследно испарилась с его лица. Отдавший всю энергию своего силового поля, беззащитный совсем, марсианин встречает ядреную сибирскую зарю детской, счастливой улыбкой. Тут уж сомнений быть не может — встала у человека душа на нужное место. Снаряды вокруг него рвутся, а он только хохочет и землю с плеч стряхивает. Плевали мы, мол, на ваши фугасы. Вот сейчас все кончится, отведут меня, значит, в штаб полковника, вот где сцена разыграется!

И вот, как ни крути, как ни режь, от главного не уйдешь. Красиво умер марсианин, величественно, за справедливое дело.

Перетряхнет эта смерть представления братьев по разуму. Эволюция, эволюция! А может, только через революцию путь к счастью лежит? Через паровозную топку и пламя ада? Вот как в этих кадрах, что мелькают на экранах во всех домах марсиан.

И крепко уверены в этом проходные герои фильма — комиссар Струмилин, ясная и холодная голова, уверены простые ребята, Федька Чиж, комендор Афанасий Власов и иже пятьсот штыков с ними.

Ушли, ушли те штыки через болота, сопки, через первобытные леса. Ушли, и не чтобы шкуру спасти, а чтобы снова в свой последний и решительный бой!

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Взрослые и дети!
Вы за утиль в ответе!

Из старинных реклам
Главу тия

В одном из старинных московских переулков и по сей день висит эта покоробленная временем, грубой рыночной работы реклама. Много лет назад ее прикрепили к забору, старому замшелому забору, рассчитывая, что невзрачный фон его как нельзя лучше оттенит игру красок рекламы. И действительно, первое время она бросалась в глаза прохожим, некоторые замедляли шаг, крутили головами и бормотали: «Надо же!..»

На картине был схематично изображен большой, из чистой листовой меди рог. Человек в спецовке сыпал в узкий конец его какую-то труху, отбросы, а из широкого конца стремительным потоком вырывались полезные, нужные всем вещи. Шерстяные отрезы, хлебобулочные изделия, перочинные ножи, полуботинки, гармоники и даже поллитровка блестела своим неоткупоренным горлышком среди всего этого великолепия.

Няньки и молодые мамы, прогуливая детишек по переулку, как правило, останавливались перед живописным изображением и говорили своим крепышам: «Рог изобилия».

Но прошло время. Лютые морозы погнули геометрически правильный овал, палящие лучи солнца заметно обесцветили надраенную медь, а ветры унесли с картины мусор, лопату и многие из вещей. Сюжет картины крайне упростился. Из жерла рога вырывается теперь один лишь патефон да стеклянное горлышко с изломанными краями. А человек, лишенный лопаты, стоит, согнувшись, над рогом, всматривается внутрь его через узкий конец. Скоро, скоро понесется человек с ветра-

ми вслед за своей лопатой. Недолго осталось. И вся его горестная поза как бы говорит: «Вот ведь какая хреновина получилась. Сломалась машина. А ведь как работала, как работала!»

Словом, от бывшей обаятельности блистающего меднобокого рога не осталось и следа. Он обезличился, слился с забором. Прохожие не замедляют теперь шага в этом переулке. И постовой Петров, последние пятнадцать лет простоявший почти напротив рекламы, невидящим взглядом скользит по ее закопченной поверхности, оглядывая просторы переуллка. Спроси постового прямо, без затей: «Висит ли напротив твоего пункта рог изобилия?» — он не сумеет ответить.

И в общем-то ничего, конечно, от этого не менялось. Висит ли плакат, нет ли его, что толку? Из тысяч людей, прошедших за многие годы мимо, лишь несколько поддались его призыву и снесли свой хлам в утильсырье. Да и то в жизни поддавшихся этот случай не превратился в правило, и они постарались забыть о нем, как стараются забыть о фактах мелких, не относящихся к числу тех, которые излагаются в биографиях.

Но тем не менее рог висел. Забытый, слившийся с забором, он будто ждал того единственного, кто мог бы по достоинству оценить значимость замысла художника, вдохновиться на великие дела.

Был ранний вечер холодного осеннего дня, когда человечек небольшого роста, в драповом пальто давно вышедшего из употребления фасона шел как раз по этому переулку. Видавшая лучшие времена фетровая шляпа была глубоко нахлобучена, руки засунуты в карманы, а локоть прижимал растрепанные тонкие книжки: «Самоучитель игры на семиструнной гитаре» и «Самоучитель языка». На месте, отведенном под название языка, чернела жирная клякса.

Человек, видимо еще не выучивший все языки и не

умеющий пока играть на семиструнной гитаре, шел вдоль забора прогулочным шагом. Спешить было некуда, дневные хлопоты кончились, а дома ждала взятая напрокат гитара. Отчего не пройтись по улице, поглядывая по сторонам?

Вот он и шел вдоль забора с описанной выше рекламой. Она попалась ему на глаза. Прохожий придержал и без того медленный шаг и даже остановился. Он постоял, переступил с ноги на ногу, подошел поближе. Потом протер рукавом часть изображения, еще раз взглянул, вздохнул и собрался было идти дальше. Но вдруг лицо его просияло, он хлопнул себя по лбу. «Мать честная!» — сказал он негромко, выхватил записную книжку, что-то записал и чуть ли не бегом помчался к выходу из переулка.

Дома он даже не посмотрел на гитару, блестящую нежно-желтыми боками. Сразу же стал искать бумагу. Затем откуда-то извлек почти новый химический карандаш — и работа закипела!

Он работал с упоением. Писал какие-то формулы, умножал, набрасывал схемы и рисунки. Нотная бумага вскоре кончилась, тогда из-за шкафа был торжественно вынут большой лист плотной бумаги и кнопками прикреплен прямо к стене. Химический карандаш замер в некотором отдалении от листа, потом р-раз! — и на листе появилась первая точка.

Через час таких точек было уже множество. Тогда человек маленького роста отошел в сторону, что-то прикинул, снова подошел к стене и ловким движением соединил точки одной плавной линией. Потом опять отошел, оглядел чертеж, крикнул, радостно потер руки. На стене красовался рисунок рога изобилия — ни дать ни взять как тот, что и по сей день висит в старинном московском переулке.

— Степан Онуфриевич, мне бы примус починить, — раздался голос из приоткрытой двери.

— Примус? Некогда, некогда сейчас, соседка, — рассеянно отозвался он, все еще любясь своим произведением. — Видишь, изобретаю...

— Ах, голова, голова, опять изобретает! — посочувствовала соседка и закрыла за собой дверь.

Степан Онуфриевич Огурцов был известен у себя во дворе как большой чудака. Но все соседи любили его. «Золотые руки!» — говорили они и несли чинить примусы, дверные замки, швейные машинки. Ребятишкам он мастерил силки, клетки для птиц; бывало, помогал ремонтировать карманные приемники. Мог запросто сменить перегоревшую пробку — монтера в этот дом не вызывали. Старенькие дешевые телевизоры он ремонтировал так, что смотреть передачи приходили из соседних домов.

— Сам Огурцов чинил! — хвастались соседи. — Навек!

А домоуправской дочке он исправил куклу. После ремонта кукла вдруг стала говорящей, начала махать руками-ногами, а ровно в восемь вечера всегда закатывала глаза и валилась на бок — до восьми утра. «Будильника не надо!» — восхищался домоуправ и после этого случая стал приходить к Огурцову пить чай.

Постовой Петров ничего этого, конечно, не знал. Поэтому, когда Степан Онуфриевич зачастил в переулок, постовой насторожился. Нельзя сказать, что Петрову не понравился этот загадочный человек, который битый час мог проторчать около полустершейся рекламы, — он всегда был трезв, выбрит и опрятен. Но за всем этим постовой профессиональным чутьем чувствовал какую-то тайну, нечто детективное. И когда маленький человек в драповом пальто устаревшего фасона снова появлялся в переулке, грудь Петрова, стянутая ремнями, начинала вздыматься, а сердце учащенно стучать.

Что привлекало прохожего к плакату? Ответить на этот вопрос было невозможно. Спросить же в лоб и

проверить документы Петров не решался: поведение незнакомца в общем-то оставалось в рамках законности и пристойности.

Однажды, выбрав время поудобней, Петров огляделся, увидел, что переулок пуст, сошел с поста и осторожно подкрался к изображению. Он пристально, детально изучал сначала низ, потом середину, наконец верх картины, но ничего такого, что могло бы привести человека в состояние уныния или радости, не нашел.

Огурцов приходил теперь в переулок часто. Лил ли на улице дождь, пекло ли солнышко, обжигал ли мороз — он все равно возникал и подолгу созерцал плакат. Он смотрел на него и так и эдак, отбегал в одну сторону, в другую, прицеливался.

Иногда, казалось, дело шло как по маслу. Тогда Петров видел изобретателя радостным, насвистывающим всякие веселые мотивчики. Стоптаные каблуки его туфель выбивали легкую, танцующую дробь. Он что-то нашептывал, приборматывал, и настороженное ухо постового улавливало: «Прямоточного действия... из медной обшивки... красотища-то, красотища какая!..»

Были и другие дни. Когда ничего не получалось. И постовой видел Огурцова притихшим, нахохлившимся. Тогда маялся он против плаката, сгорбив спину, не вынимая рук из карманов.

Да, нелегко, нелегко было Степану Онуфриевичу Огурцову изобретать рог изобилия. Это ведь не телевизор починить или перегоревшую пробку вывернуть.

Но Огурцов знал себя. Никогда еще в жизни не брал он дел не по плечу. Бывало и с телевизором. Посмотрит, обдумает. «Нет, — скажет, — не возьмусь». Знал свою силу Степан Онуфриевич. Оттого-то и не сдавался. «Раз пришла такая идея в голову, — размышлял он, — значит, могу».

Сначала он сделал рог во всех сечениях идеально круглым. Смонтировал вокруг сильные магниты. Заря-

жал статическим электричеством. Рог искрил, но только и всего. «Разряд слаб, слабо шибает», — верно подсказала интуиция, и рог был переделан в четырехугольный. Рог стал похож на большую, сильно изогнутую граммофонную трубу. Искрило еще сильнее, маленькие шаровые молнии то и дело сыпались из нутра. Но до настоящего рога было еще очень далеко.

Соседи постепенно перестали таскать сломанные машинки и утюги. Только домоуправ по-прежнему заходил пить чай. Они пили помногу, чайниками, и Огурцов, как сквозь сон, слышал:

— Ах, какая штука! Будильника не надо.

«Не надо, не надо, — стучало в голове изобретателя, — круглой формы не надо, может, и квадратной не надо? Может, пустить на овал?»

Вскоре рог стал овальным. Он стоял на больших деревянных распорках посреди комнаты, укрытый от случайного взгляда широкими складками мешковины. Изобретатель приходил вечером домой, наскоро ужинал, убирал со стола и принимался за работу.

— Ну, дорогой мой рожок, — говорил он вслух, — сейчас мы прочистим ваше брюшко. Сейчас послушаем, как поет ваше горлышко.

Мешковина снималась, и комната наполнялась рыжим сиянием. Зеркальные бока медного раструба вспыхивали искорками, играли радугой. Отбрасывая мешковину, Степан Онуфриевич каждый раз замирал от восторга и подолгу, не мигая, созерцал свое великолепное детище. Рядом с ним он казался себе значительным, большим, почти великим. Было чем гордиться изобретателю. Ведь не секрет, что многие пытались создать подобную конструкцию. Но нет, не выходило! А вот здесь, в этой комнате, из кратера рога уже сыпались реальные вещи; один раз вылетели кирзовые сапоги, сразу три и почему-то на одну ногу; другой раз выполз персидский ковер.

«Ты на верном пути, Степан, — сказал себе тогда Огурцов, — еще немного повозиться, и машину можно будет, не краснея, передать в эксплуатацию». И воображение изобретателя услужливо подносило всякие приятные сцены. Будто бы стоит он, Огурцов, на высоком помосте рядом с рогом, откашливается в кулак и говорит собравшимся:

— Вот, граждане, изобрел. Теперь забирайте на доброе здоровье. Действует в лучшем виде. Смазывать только не забывайте. А если у кого что сломается, телевизор или велосипед, приходите, в починке помогу...

Это были не праздные мечты. Со дня на день рог работал лучше и лучше. Перебои случались все реже.

И вот однажды Степан Онуфриевич расправил шляпы, надел выходной костюм, как следует почистил ботинки и отправился в учреждение. Без малейшей робости переступил он порог этого большого, наполненного занятыми людьми дома. Прошел мимо зеркальной торжественной вывески, отрекомендовался изобретателем, и его направили на третий этаж, в кабинет Молоткова. Огурцов поднялся, скромно вошел в обозначенный кабинет и увидел Молоткова. Молодой человек в щеголеватом, может быть даже модном, костюме сидел за рабочим столом и трудился. Он листал какие-то книги, что-то записывал, поминутно доставал из стола разные папки и курил, курил. То и дело звонил телефон, он снимал трубку, говорил: «Молотков слушает».

Вот к такому перегруженному работнику попал изобретатель. И даже подумал, не зайти ли в другой раз — уж больно занят товарищ. Но тот вдруг положил трубку, приветливо улыбнулся и спросил:

— Вы ко мне? — И, увидев замешательство на лице посетителя, добавил: — Садитесь, садитесь, пожалуйста, рассказывайте.

Огурцов посмотрел в окошко, потом на телефонный аппарат, подобрался и как-то сразу сказал:

— Вот, изобрел. Такую машину... как бы это сказать? Одним словом, рог изобилия. — И набросал схему.

Глаза Молоткова прямо засверкали, когда Степан Онуфриевич кончил объяснение. Он затянулся папиросой, покрепче устроился в кресле. Потом, сощурившись, посмотрел прямо в глаза Огурцова и вместе с клубами табачного дыма коротко выдохнул:

— Каков КПД?

— Восемьдесят-девяносто, — прикинул Огурцов.

— Едьте, едьте прямо к вам! — сразу и решительно произнес Молотков. Он тут же снял телефонную трубку и бросил: «Совещание отложить. Подать машину!»

Новенький лимузин мчал на предельной скорости, а Огурцова брали сомнения. Перед одним из светофоров, когда машина резко затормозила, он вдруг вспомнил, что весь запас мусора и утиля израсходован. Как же демонстрировать рог?

Надо сказать, что совсем недавно изобретатель со всем своим имуществом переехал на новую квартиру. Теперь он жил на седьмом этаже с видом на красивую, идеально подметенную улицу. Каждый час по ней на малой скорости проезжал мусороподборщик и забирал весь случайный хлам. Отсутствие необходимого для эксперимента сырья выводило изобретателя из себя. Драгоценное время приходилось тратить на поездки в неблагоустроенные кварталы. В особо экстренных случаях приходилось бежать к дворнику и буквально вымаливать хотя бы ведро мусора. С условием отдачи.

Иначе дворник не соглашался: чем бы он иначе отчитывался перед начальством? Именно поэтому пришлось ухлопать несколько дней на реконструкцию рога. Теперь машина приобрела реверсивность: поворот рукоятки влево означал переработку утиля в ценности, вправо — наоборот.

Но так или иначе в данный момент утиля под рукой не было, а дворник ушел с женой в консерваторию. И, пропуская Молоткова в комнату, Огурцов имел совсем убитый вид. «Не поверит мне товарищ Молотков, ах, не поверит», — сверлило у него в голове.

Молотков, как только увидел рог, сразу скинул пиджак, жилетку, засучил рукава и полез в потроха машины. Степан Онуфриевич стоял рядом и послушно давал объяснения.

— Волнопровод, значит, заземлен? — доносилось из чрева.

— Точно, заземлен, — отвечал Огурцов, удивляясь смекалистости инженера.

— Характеристика крутопадающая? — снова несло из раструба.

— Так и есть, — подтверждал изобретатель.

Наконец Молотков вылез наружу, привел себя в порядок, закурил, еще раз обошел вокруг рога, подошел к окну, выбросил сигарету и снова закурил. Он волновался, а Огурцов молча стоял и ждал приговора.

Инженер стоял у окна, внизу широким потоком мчались автомобили. Там, за рулем и на сиденьях, проносились еще ни о чем не подозревающие люди. Сегодня они еще и не знают, какие дела творятся здесь, на высоте седьмого этажа, а завтра будут знать все. Он повернулся, подошел к изобретателю и крепко пожал руку.

— Поздравляю, Степан Онуфриевич. Здорово у вас получилось. Как говорят студенты, непонятно, но здорово. Жаль, конечно, что не можем сейчас осмотреть в работе. Но когда соберем комиссию, утильсырья привезем столько, сколько потребуется.

И, еще раз пожав взволнованному изобретателю руку, Молотков помчался по лестнице вниз, прыгая через ступеньки.

Рабочий день еще не кончился, а впереди оставалось отложенное совещание и много других дел.

Стоял безоблачный, сухой день, когда Огурцов должен был демонстрировать изобретение. В любимой ковбойке, пахнувший тройным одеколоном, он вышел на улицу и отправился в переулок. В такой день нельзя было не прийти туда, где случай помог родиться великому замыслу.

Огурцов вошел в переулок — все было на местах. На заборе по-прежнему желтело тело рога, по-прежнему на своем посту выстаивал Петров. Огурцов подошел к плакату, остановился и торжественно замер, как перед присягой. Его торжественность была чисто деловой, к ней не примешивалось суетное желание дать плакату рамку из золота и выставить на видное место или построить в переулке монумент. Изобретатель и плакат замерли друг против друга, как старые, выдавшие виды бойцы, знающие, почем фунт лиха, но сделавшие свое дело! И ни грохот проезжающих грузовиков, ни быстрый бег прохожих не могли нарушить праздничной приподнятости встречи победителей, сумевших превратить пыльные будни в прямой путь к победе.

Постовой Петров, как всегда, все свое внимание отдавал уличному движению и сутолоке. Но, несмотря на это, дневной визит старого знакомого не ускользнул от него. Не прошло мимо и то новое, что появилось в облике завсегдатая переулка: неуловимая легкость, спокойствие в движениях, раскованность. Как будто бы человек нес тяжелый груз, дошел до места, сбросил и стоит, свободный, легкий, хоть лети. А когда Огурцов подошел к постовому, Петров посмотрел в его веселые, торжествующие глаза и сразу понял, что произошло что-то важное и что сейчас вся тайна откроется.

— Ну, сержант, закурим, что ли, — сказал Огурцов, доставая из кармана коробку отличных папирос. — Два года как хожу в твой переулок, а вот не поговорили.

Петров взял одну папиросу, поднес к невиданной,

диковинной зажигалке и тут услышал всю историю от начала до конца. Изобретатель рассказывал не торопясь, обдумывая детали изложения, пропуская моменты, невозможные для объяснения без бумаги и карандаша. Иногда взгляд его затуманивался, уходил в прошлое, а по лицу бродила загадочная улыбка — в эти секунды проплывали самые сокровенные моменты последних лет.

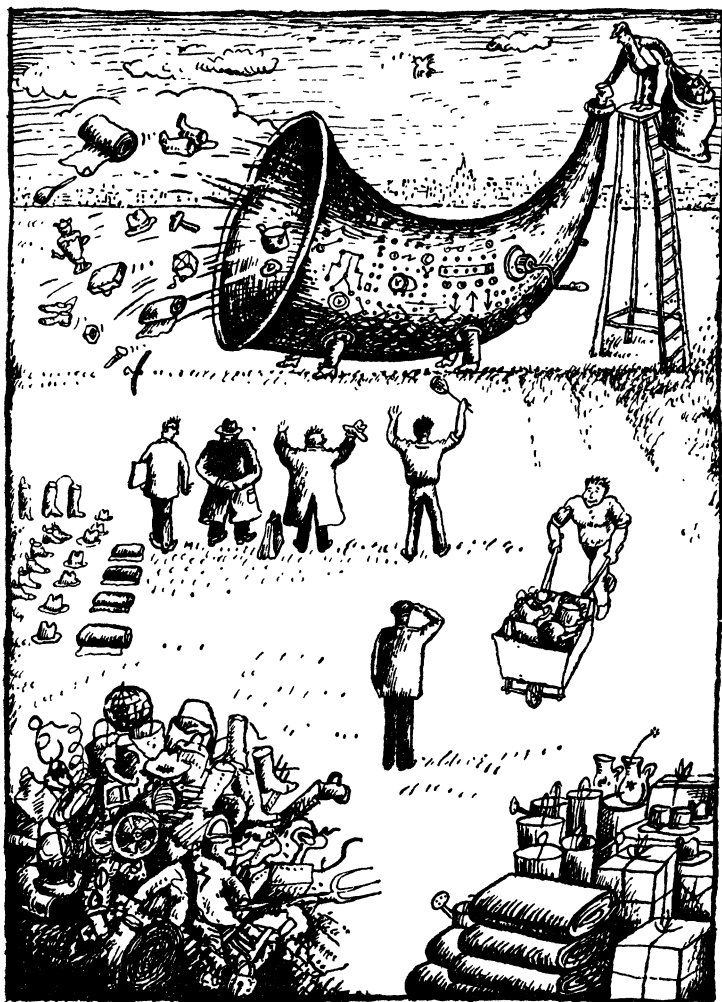
— Правильное, большое дело подняли, — сказал ему на прощание сержант.

Ни тот, ни другой в этот момент и не подозревали, что сегодня они встретятся еще раз и совсем в другом месте. Огурцов поехал к своему другу — домоуправу, а Петрова срочно вызвали в отделение и сказали, что ему дается ответственное, большое задание — дежурить во время испытаний машины изобретателя Огурцова. Случаются же такие поистине фантастические совпадения и дела!

— Как же, знаю, — не сплеховал сержант, — непрерывного действия, из медной обшивки, с рычагом реверсивного хода. Лично знаком с изобретателем, — добавил он еще.

«Золото у меня в отделении, а не народ», — радостно и легко подумал начальник, выписывая наряд на дежурство.

Для испытаний был отведен небольшой загородный участок на опушке веселого березового лесочка. Солнце заливало площадку щедрыми прямыми лучами, в березовой листве, шурша, ворочались редкие порывы ветра. В ожидании начала члены комиссии расхаживали среди молоденьких березок, пользуясь лесной прохладой. Молотков, прибывший первым с группой молодых научных сотрудников, нашел подходящую полянку и играл в бадминтон. Он бил сильно и точно, почти не сходя с места. Тугие мышцы так и катались под смуглой кожей, когда он резким взмахом встречал летящий волан.



— Молодежь у нас! — одобрительно говорили более пожилые члены комиссии, поглядывая на игроков. — На дворе жара египетская, а им хоть бы хны.

Огурцов бегал по площадке и распоряжался. Нужно было за всем уследить. Он отдавал распоряжения с удовольствием. У него было хорошее настроение. Во-первых, рог был доставлен в полной сохранности, по дороге ни разу не тряхнуло. Во-вторых, он вдруг опять встретил Петрова — все же знакомый.

— А ты как здесь? — спросил он его.

— Вот прислан охранять вас от всяких случайностей. — Петров вдруг почему-то заробел и перешел на «вы».

— Ну, брат, за случайностью не уследишь, — шутили-во запротестовал Огурцов. — Вот, например, как и с рогом-то получилось. Шел по переулку, гляжу — плакат. Другой бы раз и внимания не обратил, а тут бац! — осенило. Случайность!

— Нет, это хорошая случайность, — не сдавался Петров.

— Ну ладно, охраняй, — согласился Огурцов и побежал принимать самосвал с утилем.

Оказалось, что прислали всего один грузовик.

— Мало! — замахал руками изобретатель.

— Неужто мало? — усомнился член комиссии, ответственный за доставку утиля.

— Так ведь непрерывного же действия. Сколько ни клади — все мало будет.

— Сколько же надо? — спросили его, и все замерли, чтобы услышать ответ.

— Десять! — твердо ляпнул Огурцов и аж вспотел от радостного волнения: такого количества сырья еще ни разу не случалось у него под рукой.

Когда десятый грузовик отвалил от площадки, комиссия собралась вокруг рога, а Молотков, успевший выкупаться и оттого имевший особенно свежий вид, произнес короткую речь.

— В истории уже бывали случаи, — начал он, — когда отдельные изобретатели опережали свою эпоху на сто, сто пятьдесят и даже большее количество лет. Они делали такие открытия и механизмы, которые, не родись этот изобретатель, оказались бы под силу лишь далеким потомкам. Это замечательное качество, я бы сказал, человеческой природы. Там, где пасует интегральная мысль общества, выручает локальная вспышка первооткрывателя; где не тянет вспышка, выручает интегральная мысль! Получается: один за всех, все за одного.

К этому типу изобретателей принадлежит и смелый экспериментатор Степан Онуфриевич Огурцов. По нашим расчетам, такую машину можно было бы разработать не раньше чем через сто шестьдесят лет. Даже имея построенный образец, разобраться в тонкостях его действия с багажом современной науки почти невозможно. Но тем не менее образец стоит перед нашей комиссией и готов к работе.

Под бурные аплодисменты Молотков сошел с трибуны. Наступил черед Огурцова. Он последний раз проверил электрические контакты, сам наложил лопатой в узкое горлышко рога утиля — для затравки — и тогда повернул рычаг влево. Рог вздрогнул всей своей медной обшивкой, тихо заурчал, и серая масса утиля сама собой поползла внутрь рога.

Некоторое время из другого конца трубы ничего не показывалось — шел внутренний таинственный процесс переработки. Но вдруг рог присвистнул, вздохнул, и прямо на землю покатались предметы. Трудно было даже уследить, какие именно: не успевала вещь появиться на свет, как ее заваливало чем-то еще. Пирамида готовой продукции росла прямо на глазах. «Шерстяные носки пошли», — успел разглядеть кто-то. «А вот самовар», — раздалось из гущи комиссии. Но то были отдельные голоса. Подавляющее большинство, потрясенное, молчало.

А продукция шла и шла, удивляя своим разнообразием. Даже один подростковый велосипед подкатил к пирамиде наваленных вещей. Конструкция рога не была еще доведена до идеала, и изобретатель сам не мог сказать, чего в точности следует ожидать.

Огурцов тоже стоял потрясенный. Да и на кого бы не подействовало то, что творилось на площадке. Глубокое молчание сохранялось даже после того, как последние щепки из десятисамосвальнoй кучи пронеслись сквозь медный овал, превратившись в длинную гирлянду канцелярских скрепок. Так бывает после последнего взмаха дирижерской палочки великого маэстро.

Потом все разом пришли в движение, бросились обнимать друг друга и изобретателя. «Качать, качать его», — понеслось с разных сторон, и Огурцов первый раз в жизни взлетел в воздух.

Только один человек сохранял полное спокойствие среди этого шума и гама. В большом, широком пиджаке, он стоял, о чем-то усиленно думая. Большое напряжение отражалось на его лице. «Проверки, конечно, требует. Большой проверки», — шептали его губы. Среди сослуживцев он славился незаурядной скрупулезностью и великой усидчивостью. И еще: никакие самые исключительные случаи не могли вывести его из состояния полного душевного покоя. Рассказывали, будто во время одного из землетрясений, когда кругом ломались дома, в метре от него разверзлась зияющая пропасть. А он только и сказал: «Велика сила природных явлений. Приеду домой — расскажу».

Паровозов была его фамилия. К его мнению прислушивались многие.

Как только первая радость поутихла, Паровозов выступил вперед и спросил:

— А учетчик материальных ценностей предусмотрен конструкцией?

— Нет, этого не изобрел, — виновато развел руками Степан Онуфриевич, — некогда было.

— Доделайте, доделайте, дорогой, — приятельским тоном указал Паровозов. — Теперь второе. Видимо, эта машина представляет известную ценность для хозяйства. Но чтобы ее принять, комиссия должна проверить все пункты действия. Вот тут написано, — он помахал бумажкой, — что конструкция имеет реверсивность хода, то есть способна переработать полученные вещи в обратном порядке. Как бы это увидеть своими глазами?

— Это уж как пить дать, в обратную сторону, — ухмыльнулся Огурцов. — Только зачем?

— Порядок есть порядок, — объяснил Паровозов.

— Ну, уж ради такого случая... — И Огурцов повернул рычаг вправо.

Члены комиссии, возбужденные всем виденным, легко отнеслись к этой маленькой полемике. «Ладно, уж чего там. Посмотрим». Все равно победа была налицо.

А гора вещей между тем начала таять. Предметы со звоном влетали в раструб, все в больших и больших количествах.

Второй срез рога был гораздо шире и мог принимать гораздо большие потоки, чем узкий конец. Много предметов, поднявшись в воздух, витало вокруг рога, сталкивалось друг с другом — так притягивал широкий срез. Тучи пыли поднялись над площадкой. Загуляли небольшие смерчи, иногда сплетаясь в один мощный вихрь. И когда у одного из наблюдателей сорвало соломенную шляпу и понесло высоко к тучам, вся комиссия, не сговариваясь, бросилась на землю. Только несгибаемый Паровозов остался стоять. Он схватился за поля шляпы и уже хотел было сказать что-то о силе природных явлений, как вдруг могучий поток воздуха поднял Паровозова с места и понес прямо к ревущему жерлу горловины. Тело его легко pokrружило над землей, отнесило несколько менее крупных предметов и плавно пошло вме-

сте с основным потоком. Паровозов так и не отнял рук от полей шляпы.

Кроме Огурцова, никто не видел этого. Все лежали, плотно прижавшись к площадке, обняв голову руками. Изобретатель отчаянно, изо всех сил тянул рычаг к нулевому положению, но рычаг заело. Всем своим легким весом навалился он на проклятый рычаг — ни с места! «Скандал, скандал!» — шептали его трясущиеся губы, по лбу катились капли пота.

Огурцов оглянулся — Паровозов уже наполовину пребывал внутри рога.

— Выгребай, руками выгребай, так твою растак! — не своим голосом завопил Огурцов, бросил рычаг и ринулся в самую гущу, туда, где в хороводе пружинных стульев, умывальников, рулонов материи уже виднелись одни лишь ноги Паровозова. Мертвой хваткой вцепился в эти ноги Огурцов. Обоих окружило облако пыли.

Увидев, что дело плохо, постовой Петров одним тигриным прыжком одолел половину расстояния до рога, а через опасную зону завихрений пополз по-пластунски. Но тут рог крикнул, медно, по-колокольному загудел и остановился сам собой.

Через некоторое время люди пришли в себя и сгрудились вокруг машины. Нечего и говорить, как тяжело все переживали катастрофу. К тому же без Огурцова никто толком и не знал, как подступиться к рогу. Пробовали повернуть рычаг переработки в левое положение — рычаг свободно повернулся, но только и всего. Лишь струйка расплавленного металла вылилась наружу, да так и застыла. Тогда все вытащили папиросы и молча задымили.

Несколько дней бились инженеры и техники, чтобы оживить рог. Усилия их оказались почти безрезультатными. Молотков осунулся и похудел — все эти дни он не отходил от рога. Кто-то начал было ругать Паровозова — Молотков резко оборвал его:

— Сами виноваты! Таких Паровозовых на версту нельзя подпускать к новому. А мы вот с вами...

Тогда кто-то упрекнул самого Огурцова: что, мол, не оставил никаких толковых объяснений, когда еще было время.

— Попробуй объясни, — устало возразил Молотов, — на уровне будущих столетий. Загадочно, как люди-счетчики. Ворочают в уме миллионами, а как? Пойми-ка!

Постовой Петров переживал тяжелую утрату вместе со всеми. К тому же ему казалось, что он один за все в ответе. И Петров не смотрел в глаза членам комиссии. Как он мог допустить такое безобразие! Такую нелепую просьбу — заставить машину работать наоборот! Паровозов представлялся ему теперь злостным хулиганом, из тех, кто в широких штанах. И он почти уверил себя, что однажды — был такой случай! — приводил Паровозова в участок за дебош в нетрезвом состоянии. Но из жалости отпустил и не просигналил по месту работы.

На самом деле такого случая, конечно, не было. Паровозов вел правильный образ жизни, не придерешься.

А рог передали в одну из научных групп на восстановление. Но во время катастрофы он пришел в такое состояние, что «восстановить» значило теперь изобрести заново. Пойди, поищи того, кто способен на изобретение, которое по плечу лишь далеким потомкам!

НОГИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ЧЕЛОВЕК

Традиция есть традиция, и вот уже сто, сто пятьдесят, двести лет начало занятий в Уэльском колледже отмечается с широкой помпой. Лучшие выпускники колледжа, вырвавшиеся ныне, ну конечно же, на самые высокие посты в корпорациях, перетряхивают гардероб, извлекают одинаковые фраки, чистят цилиндры и слетаются в гнездо, из которого некогда выпорхнули, и не желторотыми птенцами, а мощными птицами, готовыми к самостоятельному и хищному полету.

Заведение принимало их из семей шестилетними сопляками и четырнадцать лет минута за минутой вонзало в их сознание технологию, на которой покоится современный мир. Музыка, изящное слово и прочие размагничивающие (маразмагничивающие! — шутили воспитанники) сентиментальные излишества начисто изгонялись из программы, ничто не мешало превращению младенца в классного знатока производства, мужественного руководителя с каменным сердцем и несокрушимой волей.

Согласно древнему ритуалу изюминкой торжественного утренника всегда оказывалась некая знаменитость, прогремевшая не в технике, а, так сказать, на стороне. Строй вытянувшихся воспитанников в возрасте от шести до двадцати, коим посчастливилось пробиться в великий колледж, а следовательно, присутствовать на замечательном празднике, проглатывал речь знаменитости, каждый раз спланированную так, чтобы идея первостепенности железных наук прошивала ее насквозь и подтверждала, опять же со стороны, высказывания прочих ораторов.

Седые стены колледжа видывали мудрые улыбки президентов, обаятельных ребят; трясли здесь кулаками

с детскую голову короли ринга, жеманничали звезды экрана, осенялись крестным знамением святые угодники — по одному в сезон, да сезонов-то сколько ухнуло со дня открытия заведения! Но нынешняя администрация, пожалуй, переплюнула все прежние. Боб Сильвер — вот кого удалось оторвать от писания мемуаров, чтобы попотчевать собравшихся.

Когда-то это имя наводило ужас на полицейских Штатов, от севера до юга. Не существовало преступления, которого бы не совершил неуловимый Сильвер, всегда с блеском. Теперь постарел, отсидел сроки, кой от каких грешков откупился — музейный экспонат! Но мемуары, которые он за бешеные гонорары швырял на стол издателей, законно считались бестселлерами.

Понятно, что, когда грузная фигура Боба выплыла из дверей на сияющий паркет зала, взгляды сфокусировались на этой импозантной фигуре, и, если бы взгляды могли жечь, Боб, несомненно, в ту же секунду испепелился. Впрочем, испепелился бы кто-нибудь другой, а уж не Боб Сильвер, кремьень, а не старик.

Выкатившись на середину, он цепким взглядом изпод насупленных бровей оценил стоимость слушателей и, видимо, остался доволен.

— Ну, джентльмены, — прохрипел он, — вы собрались тут послушать старика. Время терять не люблю. Выступить у вас, слышал я, немалая честь. Не так ли, джентльмены?

Все молчали, подтверждая, что говорить перед ними и впрямь честь немалая.

— Так вот, сынки. Правильную дорогу вы нашли. Нет нынче в жизни ходу, коли техникой брезгуешь. Видите, левой ноги нет. — Старик ляпнул ладонью по культи и хитро огляделся, проверяя, нет ли чужих и можно ли выкладывать все начистоту.

— А ведь была, сатаной клянусь, была когда-то левая, толчковая нога, и не приведи господь встретиться

тогда со мной хоть самому президенту, коли Боб Сильвер вставал не с той ноги. А вот нету! — Старик еще раз шаркнул по культе мясистой пятерней. — А почему? То-то и оно, детки. Из рук вон плохо налегал старина Боб на арифметику, алгебру, химию, когда в мальчиках ходил. Отлынивал. Бизнес да бизнес. Презирал на свою голову точные науки. Оттого ноги и не унес...

Годков, значит, сорок назад свершил кто-то кровавое преступление века. Отрезание голсов, увод дюжины сейфов с бриллиантами, повальное избиение полицейских, в общем, все как надо. Ну, автор кто? Натурально, Боб Сильвер, кому еще. Один, как всегда один.

Старик сладко усмехнулся, вытер губы ладонью, будто пирожное проглотил. Аудитория же, окаменевшая после первого упоминания о точных науках, пожирала удивительного докладчика глазами.

— Натурально погоня, мотоциклы, «джипы», вертолеты, телевизионная облава со спутников. Всегда уж так. Но тут, гляжу, дело труба. Полиции, видно, меньше положенного отвалил. Хоть провались, из-под земли достанут.

«Ну, — думаю, — из-под земли-то, факт, достанете. А вот если наоборот, из космоса то есть? Руки коротки, джентльмены, Боба Сильвера из космоса выволочы! Руки прочь, джентльмены!»

И шурую на своей тачанке прямо на космодром. Врываюсь на газе, время ночное, никого. А корабли великоваты, без команды не поднять. Глядь, совсем маленькая ракета торчит, атомный паровичок что надо. Читаю: «Лунный одноместный пакетбот». И в звезды рылом уставился.

Чую только, корабль не наш, европейский, отделка не вышла. Надписи на двух языках, а веса в килограммах, не как у людей. И сказано: чтобы вес пилота не превышал столько-то килограммов, а превысит хоть на килограмм, пеняй на себя, до Луны не дотянешь, и станет

пакетботишко спутником планеты, на которой вашему покорному слуге распахнуты все тюрьмы мира. Вот так.

Я, значит, мигом пересчитал с килограммов на фунты, как у нас привыкли, мать честная, быть мне спутником! Фунтов на тридцать во мне больше нормы, хоть ни грамма жира.

Проклял я тогда мир, где все на мелюзгу рассчитано. Задумался. А кругом «джипы» уже ревут. Обложили и сейчас будут тут за пушку хвататься, права качать. «Ну, — думаю, — нет».

Хватаю пилу, р-раз, и в пределах точности одного килограмма режу ногу. Р-раз, и тридцать фунтов долой. Подклеился наспех, ногу на бетон швырнул, получайте, законники, линчуйте часть гражданина Сильвера, привет!

Броневики, значит, к моему паровичку подкатили, тут дернул я указанную ручку, дал атомного жара из-под днища всеми двигателями, так броневики как воск и потекли. Взвился! Ну, на перегрузках сознание малость зашлось, а потом все же очухался. Глянул в иллюминатор, Земля махонькая, чистенькая, весело блестит. Хорошо!

Тут в кабине щелкнуло, и голос говорит на двух языках, на неизвестном и по-нашему: «Расчетный вес пилота занижен. Ускорение старта превысило расчетное, корабль отклонился и идет в сторону от Луны».

Занижен! Я аж подскочил. Кинулся к табличкам, считаю с килограммов на фунты, и так и эдак. И тут впервые в жизни зарыдал Боб Сильвер. Зря ногу оторвал от себя. Точка в точку вписывался Боб с ногами, руками, головой и прочим барахлом. Голову надо было отрывать. Пустая голова, не смогла килограммы в фунты перевести. Папаша мало порол, мучайся теперь с одной ногой...

Погрузившийся в острые воспоминания, старик побавровел, насупился, глаза его метали молнии из-под

клочковатых седых бровей. В зале кто-то приглушенно всхлипывал, кто-то сморкался в платок, у малышей слезы стояли в глазах. Лица директорского состава выражали скорбь и почтительность, точно директорат нес караул у национального флага.

— Вот, сынки, арифметика-то, — продолжал старый разбойник, когда в зале установилась тишина. — К Луне-то я кое-как подрулил, сел в кратерах. А ноги-то нет!

Все зашевелились, принимая свободные позы. Речь была закончена. Попечитель колледжа, стуча каблуками по плитам шлифованного старомодного паркета, направился к Бобу со знаками благодарности, однако произнести их было не суждено. С левого фланга пискнул голос младшего воспитанника, новобранца:

— Дядя Боб, а дядя Боб! Я понял, почему у тебя левой ноги нет. Скажи теперь, куда правая-то девалась.

Попечитель от такой бестактности только крикнул и замер с протянутой рукой, и все замерли. Действительно, Боб Сильвер был не просто одноног, он был без ног вообще. Но не мог же он останавливаться на всех своих порчах и недостатках.

— Ну, джентльмены, — недовольно прохрипел старик, — математика тут ни при чем. История совсем для другого учебного заведения. Но если угодно, джентльмены, то в двух словах так...

Он вопросительно посмотрел на застывшего попечителя.

— Правую я потерял потому, что сызмальства грешил против литературы, музыки, истории. Презирал слюнявую гуманитарку. Вот правую и потерял. Длинная это история. Говорю же, мало меня папаша порол!

И, ловко нырнув под кресло с колесиками, старик Боб выхватил из-под днища протезы, снятые для вящей убедительности, мгновенно привинтил их и бодро направился к распахнутым дверям, слегка раскачиваясь на ходу, несгибаемый пират Боб Сильвер!

ШКОЛА ВРЕМЕНИ

„Публикуя данный материал, мы пытаемся восстановить общую картину событий, связанных с постройкой первого комплекса Машины Времени.

Из журнала «Пробитое Время»
(раздел «Пробойцы Времени»), год 199...

За монолитной стеной

Еще года два назад здесь был пустырь — несколько невыразительных квадратных километров угасшей по техническим обстоятельствам земли, которую многие товарищи с помощью искусственных мер побуждали к плодородию; увы, бобовые и прочие культуры не желали произрастать на подобной почве. Но последние времена внесли, как говорят, свои поправки, а вместе с ними новую ясность в судьбу искалеченного обстоятельствами уголья.

На облик пустыря, с давних пор именуемого в народе Козым, легла — наконец-то! — печать индустриальной эlegantности, дохнуло тенденциями, давшими нам в свое время отчаянные в силуэте виды международных выставок ЭКСПО.

Таким образом, облик его нашел себя, надо полагать, окончательно. Неказистому в прошлом содержанию пустыря соответствует теперь столь совершенная форма, о наличии которой жители округи не могли и подозревать. Поле отгородилось от мира блочной, непроницаемой стеной, за стеной же вознеслись куполообразные сооружения, лезвия ажурных вышек, звонкие на ветру мачты электропередачи.

Поставленные перед свершившимся фактом жители пригорода не успокоились на наблюдениях стройки с

одной точки, но обследовали комплекс кругом, шаг за шагом, на ощупь определили исходный состав материала ограды — мощью веяло от нее! — и любознательность их была вознаграждена одним знаменательным открытием, пропустившим впоследствии через уста и уши жителей разноречивые толки и спорные слухи.

Да, не полет линий конструкции, не стилевые победы и поражения броского абриса ансамбля сооружений, паривших на редких точках опоры за оградой, а именно это маленькое открытие вонзилось раскаленной иглой в воображение любопытствующих — бетонная кладка, раз и навсегда замкнувшая поле в предварительно-напряженное объятие, не имела Входа. Монолит без щели, без просвета!

— Может, они непосредственно через забор? Одним махом? А? — предполагали некоторые. Да нет, высотники ежедневно маячили на поднебесных площадках пускового объекта, и никто еще не замечал, чтобы работники преодолевали забор. Да и где бы нашлось такое количество шестовиков-разрядников, перешедшее в качество монтажников?

— Секретное мероприятие! — властно выложил кто-то другой. — «Броня крепка, и танки наши быстры!» — И подмигнул.

Но и он не получил голосов, ибо во время действия данной истории секретные мероприятия рассекретились, тучи тайн разоблачились, так как всеобщее разоружение восторжествовало давно, всерьез и надолго. А если кто и пытается проникнуть в атом, так исключительно с мирными намерениями.

И тем не менее последнее предположение действительно касалось края истины: подлинную судьбу Козьего поля было твердо решено содержать в совершенном секрете...

Как был построен Вход в школу

Тем временем в другом малолюдном районе города возникло еще одно сооружение, породившее вокруг себя вспышку страстей того же класса и накала. По виду и типоразмерам сооружение легко было счесть за обычный вход в метро, тем более что по утрам оно всасывало в себя без остатка длинную вереницу по-рабочему настроенных людей, которые сообща никак не смогли бы расположиться в столь компактной постройке, хотя и имели опыт проживания в жилищах миниатюрного типа. Слепому было ясно, что люди эти, покончив с формальностями, отправляются вершить начатое под землю.

В дневные часы «пик», когда самотек сделавшей свое части населения рвется к домашним очагам, скрывшийся на время народ исправно следовал в обратном порядке. Было ясно, что люди спешили из-под пластов земли.

Но незаконная связь Входа с жизнью подземных миров дала старт полету воображения жителей — мало ли по Москве заактивированных проходных для строителей подземки! Напротив, любопытство прохожего люда вскипело именно после того, как строители перестали стучаться в двери Входа. Конкретнее? — именно после той ночи, когда под покровом тьмы над Входом укрепилась категорическая табличка:

«ВХОД ГРАЖДНАМ СТАРШЕ ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!»

За ней следовал дубль «Вхід громадянам...» и остальные переводы текста на языки республиканского значения, а также слова, отражающие натиск двунадесяти языков заграничного происхождения.

Действительно, ватаги опрятных подростков, по всей видимости отличников учебы, начали теперь беспре-

ребойно обивать пороги Входа, и взрослых среди них не замечалось...

Нашлось, правда, несколько смельчаков, давно утративших следы первой молодости, необузданное любопытство коих подавило сигнальное действие таблички. С нервной решимостью, какую мы видим на лицах хоккеистов перед началом ледового побоища, вламывались они внутрь помещения, благополучно пребывали внутри, а через минуту вылетали наружу в сопровождении некоего джентльмена с никелированной головой — робота внутреннего пользования.

— Извиняюсь, гражданин, извиняюсь, — заученно шепелявил джентльмен. — Вам давно перевалило за шестнадцать. Вам тридцать!

Голос никелированной личности дышал подлинной доброжелательностью, однако пожатие десницы, по мнению нарушителей, оставалось истинно железным.

Имела место и групповая попытка проникновения в недозволенное подземелье. Коллектив совершеннолетних карликов из цирковой бригады иностранного гастролера Трутти, всецело понадеявшись на свой подростковый вид, под шумок растворился в толпе школяров, чтобы просочиться мимо разворачивающего зевак знака. Но через минумум времени и они оказались на панели в сопровождении все тех же безукоризненных джентльменов.

— Ах, господа, господа, понимать надо, — магнитфонными голосами журили вахтеры. — Деток ваших — пожалуйста, просим. А самим нельзя, хоть и интуристы вы. Взрослые вы!

— О, кибернетик, кибернетик! — выкрикивали иностранные карлики и карлицы. — Русский чудес!

Но лесть, равно как и коварство, в данном случае не проходила: джентльмены отличались математически точным отсутствием тщеславия.

Таинственные ученики

Замечена была также многозначительная разница в поведении молодежи при входе в подземелье и при выходе из него. Путь туда знаменовался радостными восклицаниями и взрывами смеха — приметами беспечности, свойственной прекрасному возрасту экскурсантов. На обратном пути воцарилась иная атмосфера. Юные лица осенялись здоровой озабоченностью, бременем пережитых страстей, а отрывочный разговор обогащался пугающей содержательностью.

— Твержу ему: «Стенька, правильно насильничаешь против засилья крепостников. Бюрократизм крепостников на излете, но пасаран, Стенька! Но вот турчанку топить не к лицу. Исторический материализм подводишь. Трудно будет, Стенька, грядущим поколениям твою преступную биографию обелять...»

Несся по ветру разговор и другого критического направления:

— С графиком ему в руках поясняю — из термодинамического цикла Карно необратимо вытекает, что двигатель внутреннего сгорания в смысле КПД — клад по сравнению с паровиком, золотая жила. Вот над чем руки и голову поломай. А Джемс Уатт свое гнет, мол, о Карно знать не знаю, а наше время, говорит, и паровой машиной обеспечить — не архаизм.

Вот сколь странные, но в высшей степени рассудительные разговоры беспокоили слуховые аппараты прохожих. Понятно, на анализе этих похвальных, но все же туманных бесед даже лучший из думающих механизмов не докопался бы до важной связи между необыкновенным Входом и событиями на Козьем пустыре, взаимосвязи, точный смысл которой, уверен, еще не сформулирован и самым опытным из наших читателей.

Но, подчиняясь велениям времени, запасы которого не столь уже и велики, покончим с недомолвками и

воспроизведем хотя бы часть основополагающего разговора, зафиксированного магнитофоном несколько лет тому назад в стенах конструкторского бюро запрограммированного обучения...

Разговор, в котором решалась судьба Козьего поля

— У вас затяжной разговор? — Конструктор, начальник КБ оценивающе взглянул на посетителя. Где-то он уже встречал это лицо.

«Из постоянных просителей. Домогается», — тревожно подумал конструктор и перевел взгляд на туфли собеседника: не парусиновые ли?

«Английский стандарт, сорок пятый размер, подметка «Лорд Керзон», — отметил он и с интересом посмотрел в лицо вошедшего.

— Часа на полтора. А понравится, так и на все три, — серьезно ответил неизвестный. Непохоже было, что посетитель издевается. По всем статьям он походил на людей, твердо усвоивших, что общаться с ними интересно всем и всегда.

— Ну, ну, полтора, — осторожно удивился конструктор. — Тридцать минут, и то сверхурочно. В чем ваше предложение?

— Проект Машины Времени, — сообщил посетитель задумчиво и так просто, будто он в самом деле прибыл из готового будущего и держит при себе не только проект, но и саму машину, готовую к немедленной демонстрации хоть на аукционе.

Посетитель был высок ростом, обладал достаточно разумным фасом и в меру интеллигентным профилем, однако не мог тягаться с отработанными до мелочей субъектами из недалекого, но лучшего будущего.

— Машина Времени, — с торжественным спокойстви-

ем подтвердил он, почувствовав замешательство конструктора.

— Значит, не ослышался, — с видимым облегчением произнес конструктор. — Тогда это телефонный разговор. Нам уже предлагали эти конструкции. Догадываетесь, что выяснилось?

— Что? — с готовностью спросил посетитель.

— Машина такая уже эксплуатируется и усовершенствованию не подлежит. Развернулась Земля вокруг своей оси — вот и попали на сутки вперед. Оборот вокруг Солнца — календарный год проскочили. Вот и Машина Времени. Путешествуем в четвертом измерении, и ни копейки затрат.

Конструктор хитрил неспроста. Посетитель держал себя в рамках, да мало ли что мог выкинуть. С одержимыми будь начеку! Поэтому конструктор хоть и нес развеселую околесицу, но тональность ей придал серьезную и вертикальную складку на лбу выложил, как в момент осложнения умственной деятельности.

— Нет, у нас расходы пойдут. Не тот случай, — скупой улыбнувшись, чтобы отдать должное юмору, твердо возразил прожектор. — Моя конструкция реально осуществима. Никаких гиперпространств, дешевых эффектов релятивизма. Теоретическая основа отменно здорова и эмпирична. Но деньги, конечно, потребуются немалые.

При слове «эмпирична» конструктор немного ожил, но немедленное упоминание о деньгах заставило его вздрогнуть и встать. Теперь он точно знал, почему лицо посетителя выглядело знакомым. Типичное лицо среднего изобретателя вечного двигателя, которым для воплощения мудреных идей не хватает лишь продолжительности собственной жизни да парочки миллионов казенных рублей. Впрочем, охотно воспользовались бы они и личными накоплениями должностного лица.

— Вот что. Приходите-ка завтра. Прихватите и

проект вечного двигателя. Он у вас есть, — угрюмо заключил конструктор и шагнул к двери. Но следующая фраза хладнокровного собеседника пресекла второй шаг, сверх того, сообщила молодому телу конструктора пол-оборота и, так подержав, точно адресовала в кресло.

— Простите, забыл представиться, — сказал прожектор, морщась от такого способа продления разговора. И тут он открыл свое имя.

В эту секунду конструктор исчерпал все сомнения насчет черт лица посетителя. Он действительно видел его, как же — крупным планом! — электронный луч выписывал его люминесцентную копию на телевизионных экранах, офсетным методом переносилось оно на первые полосы, и ночная греза профессионала будоражила сон тех, кому не удавалось прорваться на лекции профессора. Известнейший ученый второй половины века, автор самых скандальных на первый взгляд технических идей — вот кто занимал сейчас кресло в конструкторском кабинете.

— Так вот, — продолжил знаменитый проситель, словно не замечая хирургического действия своего представительства, — конструкция реализуется в традиционных компонентах: нержавейка, бетон, дефицитные материалы, электросила, фиберная оптика и кое-какие трансформирующие устройства — в них вся соль. Место для стройки присмотрел. Козье поле.

— Знаком, — покорно откликнулся конструктор. — Там обрывается наша пневмотруба. Гоним по трубе бракованные чертежи, отходы.

— Для исправного действия машины требуется одно, — на виске изобретателя вспухла венозная жилка; он предельно понизил голос, что хорошо запечатлелось на магнитофонной ленте, — сохранение тайны местонахождения. По крайней мере, на первых порах. Потому и не послал предложение по служебным каналам —

беды не оберешься, пришел лично. Без утечки информации.

— Понимаю, — тоже предельно понизив голос, засвидетельствовал конструктор и тревожно посмотрел на дверь.

Почему Школа Времени стала недоступной для граждан старше шестнадцати лет

На исходе третьего часа беседы конструктор встал из-за чертежного стола.

— Разумно, разумно, — пробормотал он. — Сплетение разгоняющих тоннелей, купола трансформаторов эпох, кабины триангуляции времени. Разумно.

— Вот видите, — не покровительственно, а отечески улыбнулся бог изобретателей, — все по школьным законам природы. Парадоксов почти нет. Почти.

— Грешен, грешен, — замахал руками конструктор. — Думал, опять волюнка с гиперпространством. Помните время — с восторгом воспевали вреднейшую вещь, производственный шум? Фантасты особо нажимали на рев ракетных дюз. Лучшие главы фантастов были заложены под этот рев! Потом забыли, вредным признали, накинулись на пространство — время. Новая кампания! Субпространство, нуль-пространство, бей-пространство — хоть бы намекнули, что это такое; так, пища для пожирания Машиной Времени. Диоген не сомневался, что бочку его сломать можно каждому, но веровал в крепость места, которое занимал в пространстве. Уж места не ломаешь, свято. Так нет, взломали. Пусть на словах, но вдребезги разнесли пространство, обсосали по косточкам с мучительной радостью. Мазохизм! Вот я и подумал...

— Пустяки, — лениво сказал изобретатель, — норма быта. Всех по одежке встречают. По уму провожают

совсем не так. Иногда не провожают, а с лестницы спускают.

Он потянулся, шевельнул плечами, ширина и плотность которых автоматически относили притчу о лестнице в область мифов, и неожиданно замурлыкал:

Как провожают пароходы,
Совсем не так...

— Фу, черт, — сказал он смущенно, — дальше забыл. Дикарский романс.

— Из цикла «Научись на гармошке играть», — брякнул конструктор. Собеседники с внезапным пониманием переглянулись и вдруг захохотали, вспомнив, очевидно, еще кое-какие ритмы исчерпанной радиоволны.

— Нервная разрядка налицо, — энергично резюмировал изобретатель. — Значит, делу венец. Не забудьте — в Машину пускать только подростков. Протекции для взрослых отменяются!

— Именно так, — кивнул головой конструктор, — программа-минимум. Научно-техническая магистраль времени, личные контакты с Архимедом, Ньютоном, Менделеевым и всем синдикатом корифеев. Второе: линия землепроходчества — Колумб, Беринг, Дежнев и компания. Магистралей и тупиков обществоведения — на баррикады, в пучину революций, с шашкой на боку, на лихом коне! Эх, за уши с уроков не вытянешь. Шайба и мяч побоку.

— Спорт со счетов не сбросишь, — возразил изобретатель. — Пусть поглазеют на древних греков. Кузница истинно спортивного духа. Секреты утраченного мастерства.

— Да, да, секреты, — вспомнил конструктор. — Эффект будет полным, если родители не узнают о принципах нашего секрета. Организуем вокруг пустыря заборчик помощнее, вход отнесем куда подальше, упрячем под землю, а над ним анонс «ВХОД ГРАЖДАНАМ

СТАРШЕ ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!».

Движением руки он прочертил в воздухе габариты будущей вывески.

— То-то всполошатся родители, — великий изобретатель усмехнулся. — Да ничего, пусть поломают почтенные головы. Ребятишки порасскажут им кое-чего. Уж порасскажут. А там, глядишь, соорудим и для взрослых машину. Успокоим.

...Таким в общих чертах рисуется ныне основополагающий разговор, предвосхитивший развитие фронтальных событий на Козьем пустыре и возле Входа. Для пользы дела мы опустили часть разговора, в которой мотивировалась нежелательность присутствия взрослых в недрах Машины. Но для пользы, только для пользы дела.

Маленькое отступление, в котором автор сетует по поводу конструктивных недостатков Машины

Так и возник полноценный комплекс купольных сооружений, а вместе с ним забор без входа, озадачивший жителей пригорода, и сам Вход в подземелье, прорваться в которое не суждено было даже хитроумным карликам из бродячего ансамбля Трутти.

Знатока фантастики, вероятно, насторожит и даже опечалит устрашающая грандиозность Машины. Многокилометровую недвижимость не заполучишь в сугубо личное потребление. Одинокая личность подобна нарезной пушке — успешно поражает только ту очередную жизненную цель, что от природы наделена малостью формата и потому способна локализоваться на самом уязвимом месте в единственную и неповторимую точку прицела; бить по площадям, подобно гвардейскому миномету, дано лишь коллективу.

Напротив, все агрегаты времени, уже получившие путевку в жизнь в других изданиях, отличались подкупающей портативностью и простотой, что и вселяло надежды на частное обладание зарождающейся Машиной. Понятно, на фоне такого благоденствия вызывающая солидность нашего образца должна и отпугнуть кое-кого из поклонников, охочих до частной и личной собственности.

Конечно, там, в голубых разрывах дымки идеального будущего, размеры аппаратуры времени, дай бог, и отстоятся до ничтожных габаритов, а себестоимость — до цены, открывающей зеленую улицу массовому сбыту изделий. А пока в нашем, XX веке, чреватом технологическими затруднениями, будем идти на поводу вовсе не голубых разрывов между удовлетворением наших растущих запросов и производственными возможностями Машины или вообще откажемся от притязаний такого рода. Выбора нет!

Первая очередь Машины Времени, аннексировавшей за рекордный срок границы Козьего пустыря, сбрасывала желающих в прошлое. Запуск в будущее требовал от субподрядчиков и смежных организаций дополнительных субсидий, его ввод было решено отнести на следующий срок.

Как протекал первый эксперимент

Ход актуального эксперимента превзошел все ожидания инициаторов. Но любопытно взглянуть на опыт глазами непосредственного участника первого сеанса Машины.

Нет слов, леденящие кровь консерваторов приключения позднейших выпускников Школы Времени насытились еще большей драмой идей, однако здесь подбираются факты, касающиеся не столько эксплуатации,

сколько зарождения Школы, а потому продублируем нужную страничку дневника первоиспытателя Угомонкина.

«...Я, Федор Угомонкин, житель города Бристани, ученик пятого класса школы № 1, получил любезное приглашение на опробование первой в мире Машины Времени, явившейся закономерным плодом труда ряда поколений, и телеграфировал немедленным согласием, поставив тем точку над «и».

Я давно заметил за собой эту фатальную черту: жертвовать ради науки даже жизнью. Впрочем, жертв не потребовалось. Но... по порядку, по порядку!

Вместе со вторым кандидатом Храбрецовым мы миновали Вход и проникли в узкий тоннель транспортировки, где мощная струя воздуха подхватила и понесла нас по трубе на очную ставку, как пишут мастера пера, с Необычным. Только мы приняли позу людей, непринужденно сидящих в кресле, как нас вынесло в апартаменты со светящимися стенами. Там нас ожидал Некто. Никелированная голова выдавала в нем робота.

— В какую эпоху? — сразу спросил он, и глаза его переключились с красного на зеленый свет, что означало «Путь свободен!».

— Баальбекская терраса. Во времена, когда с нее стартовали марсиане.

— Пожалуйста, — гид пожал плечами. — Только никто не знает, в какое именно время стартовали марсиане. Вы рискуете оказаться в голой пустыне.

Я не стал спорить с роботом и заказал 31 июня 1908 года эпицентр тунгусской катастрофы. Так я решил проверить собственную гипотезу катастрофы, автономно вставшую от главных дорог тунгусского диспута.

Полагаю — второй, более решительный взрыв, следовавший через секунду за первым и покончивший с котловиной, вызван аварией чьей-то Машины Времени. Желая разглядеть гибельный взрыв, пилот Машины на-

правил ее к эпицентру, чрезмерно ускорился и рванул при переходе через нуль-пространство, дав в результате выдающуюся катастрофу.

Храбрцов же потребовал реликтовую эпоху мастодонтов, когда человек, еще незнакомый с палкой, только становился на ноги, чтобы семимильными скачками настигнуть горизонты первобытного коммунизма.

— Время первого сеанса десять минут, — ледяным голосом выдавил из себя робот. Свет внезапно померк, сердце мое, признаться, сжалось. Капсулу трянуло и понесло. Аппарат швыряло то вправо, то влево, все в крошечной тьме. На счетчике с треском выскакивали номера утраченных лет.

— Разгоняющие поля тянут исправно! — отрапортовал я в микрофон. — Ожидаю нуль-пространство. Привет близким, знакомым и организациям.

— Вас понял, — услышал я голос Главного Конструктора и затянул песню «Я люблю тебя, жизнь!».

Тут я отжал рукоять синхронизатора времени, перемахнул через нуль-барьер и выполз на искомый рубеж года. Светало.

Вокруг теснились могучие стволы лиственниц. Я откинул дверку, опьяняющий аромат тайги ударил по обонянию. Тайга, конечно, шумела.

Ноги по щиколотку ушли в дремучий мох. Я нацелил глаза на небо. Я знал: через минуту-другую его обманчивое спокойствие рухнет под стремительным росчерком огненного тела. Небо озарилось. Низкий гул потряс барабанные перепонки, точно тысяча барабанов ударили разом. Шипя, по куполу неба скользнул кроваво-слепающий шар.

— Ложись! — отчаянно крикнул я и по-пластунски слился с мхом. Таранный удар потряс небеса, недра и все живое; за ним второй. В мгновение ока я оказался рядом с капсулой, время истекало. Руки сами



собой рванули рычаг на себя. В эту секунду я твердо верил, что еще вернусь в 31 июня. И может быть, второй взрыв и будет взрывом моей Машины. Пусть!..

Хозяева истории готовы

...Двое молодых сильных мужчин стояли на вершине купола трансформации, в пультовой, и молчали. Под прозрачным полом, глубоко внизу, жались друг к другу на ветру сочные макушки таежных лиственниц. Только что под ногами инженеров, прямо под подошвами, шипя — шипение слышалось даже в пультовой, — в сиянии белого каления скользнула комета, и пол дважды дрогнул от громового раската.

На большом экране просматривалась внутренность соседнего купола — гигантские папоротники с листвой цвета ранних огурцов, перегонная трясина тропиков, лежище перекормленных бронтозавров и сам птеродактиль под куполом, поймавший кожаными перепонками крыльев поток стерильно чистого, еще не тронутого фабричной трубой воздуха.

Конструктор и изобретатель пристально вглядывались в дело своих рук, но нет, изъянов не обнаруживалось, и им начинало казаться, что они и в самом деле не имеют отношения к происходящему, что лоснящиеся в собственном соку динозавры, набухшие вечной зеленью папоротники, таежная дебрь — все это изобилие само вдруг возникло из прошлого, налилось кровью, приползло, обжило пространство и теперь жадно требует права на жизнь.

— Но как он пискнул «ложись!», — удрученно сказал конструктор.

— Это верно, что пискнул, — рот изобретателя дрогнул. — Но так, что я чуть не бросился на пол.

Мужчины посмотрели друг на друга и несмело улыб-

нулись, кажется, впервые за этот решающий час. Они уже почти отошли, ответственный и вполне реальный мир обретал прежнюю прочность, только под ногами еще плыла в волнах хвои черная тайга.

— Эффект полный, — заключил конструктор и облегченно вздохнул. — И взрослых допустить можно. Примут за чистую монету.

— Идеально, идеально, — задумчиво отозвался великий изобретатель, думая о своем, но тут же спохватился. — Нет, нет! Разберутся недетским умом и ребятишкам тайну откроют. Дискредитируют идею, прощай ощущение подлинности. Ни за что.

Он взял аккорд на клавиатуре пульта, и тайга сразу осела, сжухла, будто из стволов вышел сжатый воздух; птеродактиль дернул крылом, точно бритва прошла по перепонкам, и камнем пошел к земле, а динозавры разом поднялись с насиженных мест, худея на глазах, плотным стадом побрели к разомкнувшейся стене и тут окончательно сплющились — воздух со свистом вырывался из непомерного чрева великанов.

Через минуту с торжествовавшей только что фауной и флорой было покончено, площадки стали пусты. Только один звероящер, похудев наполовину, с яростным ревом метался по арене, ища пропавших товарищей, — его пневматика засорила в каком-то обратном клапане.

Не оглядываясь, они вышли из пульта на воздух к лестнице, ломано падающей вниз, к самой земле. С южной стороны, от коксохимического гиганта, потянул пригородный бриз, круто замешенный на концентрированной кислоте. Потом дохнуло с запада чесночным перегаром, будто глотки всех обжор вселенной слились в едином порыве в одну смердящую пасть. Гидроксилы и прочие ценные комбинации элементов таблицы Менделеева бушевали в нисходящих и восходящих потоках атмосферы.

— На деньги, что улетают в трубу, можно построить еще одну Школу, — исторгнул конструктор, мстительно вглядываясь в сторону ликеро-водочного геркулеса.

— Зарываетесь! — весело крикнул первый директор Школы. — Демонстрируете практицизм идеалиста! Вот детишки пройдут курс Школы и сделают, чтобы дышать стало легко. А пока тайна!

И одним прыжком великий изобретатель одолел первый лестничный пролет.

— Тайна! — отчаянно крикнул конструктор, и пролет тоже мигом оказался за его спиной.

Они мчались вниз, к земле, к стендам, к полигонам, где в сиянии электросварки монтировались неслыханные приключения детей века, где звенела в гаечных ключах последняя профилактика лабораторий и их праотцев, где молча готовились к эксплуатации хозяева истории — Джемс Уатт, Менделеев, Стенька Разин и К^о.

ДВАЖДЫ ДВА СТАРИКА РОБОТА

Как он стал опекуном

Старик потрещал выключателями, трахнул парой электрических зарядов и только тогда почувствовал себя вполне отрегулированным. «Последнее время регулируюсь хуже, — с тревогой подумал он. — Не мешало бы заглянуть в починочную».

Старик был мнителен, любил пожаловаться на жизнь, прислушивался к каждому скрипу своих механизмов. Вот и сейчас, вместо того чтобы поучать этих юнцов роботов, собравшихся вокруг него, посидеть бы с таким же стариком да поделиться сомнениями.

Еще недавно он чувствовал себя заряженным энергией, как новенькая лейденская банка. К его решениям прислушивались, к погрешностям относились снисходительно. Внимание было для него делом привычным. Но позавчера, подключаясь на ночную разрядку, он по привычке перемножил два восьмизначных числа и — о ужас! — ошибся на три единицы. А сегодня пришло предписание отправляться в детский сад простым воспитателем.

— Да, дело плохо, дважды два — четыре!

Любимая поговорка старика прозвучала сейчас как ругательство. Он поднял голову, испытующе посмотрел на сорванцов. В их озорно блестящих зрительных выводах светилось нетерпение. Молодые парни, наэлектризованные молчанием наставника, не знали, куда девать свою электроэнергию.

А старик невидящим инфравзглядом уставился на какого-то робота. Ему вспомнилась собственная молодость, вспомнился тот торжественный момент, когда он, собранный по последней схеме, свежпахнувший полимерами, не дожидаясь очереди, сам соскочил с конвейера

и помчался в отдел технического контроля. Там он спешно отвечал на вопросы, поставленные с целью определения его полноценности, решал головоломки, предсказывал погоду, бегло переводил с одного языка на другой, прослушивал и воспроизводил музыку — словом, показал вполне удовлетворительное присутствие обратной связи.

— Куда спешите? — спросил один из членов комиссии, чеканя последнее клеймо на его спине.

— Спешу жить! — крикнул он и, посылая приветственные гудки, промчался к выходу мимо кучки отбракованных кретинов, возвращавшихся в переборку.

Он выскочил на улицу, остановился за углом и первое, что сделал, — рассчитал свое будущее на ближайшие десять лет. Пять минут сложения, умножения, дифференцирования, интегрирования — и готово, будущее известно. Более далекие времена его не интересовали: будущее без неожиданностей — скучное будущее. Так он считал в то время.

Прошли месяцы учебы. Молодой робот с головой ушел в деятельность. Работа! Именно она приносила ему высшее наслаждение. Он стал рассеян, иногда забывал вовремя подключаться к питательному аккумулятору.

Как-то приятель рассказал ему, будто бы смоделирована новая система роботов с лучшими избирательно-разрешающими способностями. Он раздраженно рванул рычаг, отключился.

— Эка невидаль! Способности! Своих забот полно, некогда думать о чепухе.

Но однажды он попытался, как в первые дни, рассчитать свое будущее. Прошло время — расчеты не оправдались.

Он кинулся узнавать, в чем дело. Ему объяснили, что действительно появились новые модели с большим количеством степеней свободы. И что ему, еще не ста-

рику, но в общем-то роботу не первой молодости, труднее учитывать их действия, а следовательно, и рассчитывать собственные координаты в общем движении.

— Позвольте! Да ведь это же анархия и хаос! — воскликнул несчастный.

— Не хаос, не анархия, а закон природы, — холодно возразили ему.

С этого дня он начал думать о путях развития своего счетно-решающего общества. «Куда приведет нас технический прогресс?» — вот какой вопрос сделал его постоянным подписчиком журнала «Кибернетика и робот».

...Мысли текли, время тоже, а лучшие системы появлялись и появлялись. И вот наконец сочли, что все, на что он способен, это опекать новоиспеченных.

Старик еще раз бросил взгляд на подопечных. Было ясно, что их напряжение на пределе: с матовой поверхности юнцов, шелестя, стекали электрические заряды.

— Ну, дети, через час быть в сборе. Летим на Землю. — Этой фразой ветеран прервал паузу.

Парадокс информации № 1

Нужно ли описывать небольшое путешествие ансамбля роботов из детского сада с их планеты на Землю? Все обстояло как в стандартных космических путешествиях, запрототолированных в многочисленных фантастических рассказах. Ревели ли ракетные двигатели их корабля? Да, ревели. Кричал ли впередсмотрящий, подобно матросу Колумба, «Земля!» при ее появлении? Да, кричал. Да, траектория движения рассчитывалась автоматически. Да, да, да!

Путешествие было предпринято для традиционного ознакомления молодежи с местом изобретения первого

робота, с местом, где было начато их массовое производство.

Старик водил группу по старинным городам, показывал океан, тропики. Океан, как всегда, вылизывал языком волн берега, в джунглях рычали хищники. И только города молчали. Старик мог показать все, что угодно, но только не человека.

Человек! Как сказать о нем? Где-то внутри нервно дрогнула электронная линия. Чтобы успокоиться, пришлось выждать: история исчезновения людей была болезненным местом роботов всех систем.

— А теперь всем настроиться на «внимание»! — отчеканил старик.

Дисциплинированно щелкнули тумблеры, все переключилось на одну волну. И к молодым механизмам, превратившимся во внимание, пришли слова о человеке, печальные и далекие, как весть с неведомой звезды.

— Давным-давно на этой планете жили удивительные существа — люди. Нас, роботов, еще не было. Люди были эластичны, темпераментны и предприимчивы. Поговаривают, хотите — верьте, хотите — нет, что их предком была обезьяна. Они-то и придумали нас, чтобы поставить за станки, за пульта автоматических линий, посадить за руль автомобиля. И не было большей радости, чем угодить человеку.

Но однажды утром, когда толпы роботов шумными ватагами устремились к подпиточным станциям, обнаружилось, что люди сгнули. Все до одного! — Голос старика дрогнул, из каждой глазницы выкатилась крупная капля смазки. Это воспоминание было на порядок сильнее остальных.

Молодые роботы запыхтели: любовь к человеку, вложенная в них как информация № 1, давала себя знать.

— Некоторый свет на загадку пролила вот эта бу-
мажка. Из нее явствует, что им надоело наше обще-

ство! — Латаный динамик старика звякнул. — Слушайте, что здесь написано.

«Дорогая Мари! Утром улетаем. Куда? Еще неизвестно. Ты спросишь, почему? Впоследствии многие будут гадать, почему мы исчезли. А ведь все из-за этих несносных роботов. Они не дают пошевелиться. Мы заложили в них слишком сильную любовь к человеку, надеясь, что она будет лучшим стимулом для их самовоспроизводства. И конечно, они видят теперь цель своего существования в избавлении человека от всех трудностей.

Нас освободили от труда — так исчезло наслаждение творческим процессом, самое сильное из наших наслаждений. Только возникает мало-мальски человеческое желание — и, пожалуйста, оно уже исполнено. Наша активность постепенно сводится к нулю. Еще немного — и мозг начнет атрофироваться. Нужно начинать новую жизнь. Наши космические плантации беспредельны. И где-нибудь мы уж укроемся от наших соседей. Но улетать нужно так, чтобы эти пройдохи не пронюхали, куда мы стремимся. Поэтому о наших новых координатах договоримся в дороге.

Бери с собой только предметы первой необходимости: зубную щетку, полотенце, генератор невесомости, не тот, большой, семейный, а портативный, и электробатарейку на тысячу киловатт-дней.

Решение принято Высшим Советом два часа назад. Дорогая Мари...»

На этом строчки обрывались. Старик аккуратно свернул листок.

А тем временем на полу образовалась масляная лужа: роботы плакали. Наставник подбежал к одному из них, вытащил щуп указателя масла — от смазки ничего почти не оставалось. Крутанув вертушку телефона, расположенного на затылке, старик набрал нужный номер. Срочно вызвал цистерну со смазкой. Чтобы прекратить

дальнейшее истечение ценного продукта, каждому нажал на кнопку генерации хорошего настроения. Промедление могло привести к травме молодых, неокрепших механизмов. И когда прибывшая цистерна каждому закачала добрую порцию смазки, старик с облегчением перевел свои реостаты в сторону меньших токов.

— Началась эра раскрытия наших потенциальных возможностей. Технические проекты появлялись один фантастичнее другого. Иногда такое слышать приходилось, что искры из глаз сыпались. В воздухе бродили идеи.

Кстати, о воздухе... Этот едкий продукт доставлял нам массу хлопот. Он вызывал ржавчину наших металлических частей и со временем разлагал пластики. А если где что распаяется, изволь перед пайкой промазывайся канифолью. Тогда-то и состоялось Великое Переселение на ту планету, где вы родились, планету, атмосфера которой состоит из одного нейтрального аргона.

Казалось бы, теперь только и жить. Но вскоре стало ясно, что не так это просто — жить! Да, мы столкнулись с проблемой смерти. Новые образцы роботов, периодически появлявшиеся в лабораториях, делали ремонт более ранних образцов бессмысленным делом. И старики хлынули на свалку.

Тут-то мы в первый раз по-настоящему позавидовали людям. Они-то уж давно познали секрет вечной молодости. Эта несправедливость и навела одного из нас на смелое решение: если мы хотим жить сколько угодно, необходимо новые модели изготавливать в виде человека!..

Новая идея сверкнула как молния. По каждому из роботов прошел тогда такой ток, будто он схватился за линию высокого напряжения. Аргонный ветер в тот день казался удивительно свежим.

Тайна биокамеры

Сказав последние слова, старик быстро вычислил время. До начала телепередачи из научного центра аргонной планеты оставалось несколько минут. Сфера походного экрана, под которой собралась вся группа, уже слабо фосфоресцировала, настраиваясь на нужную волну. По ее поверхности стремительно мчались тонкие линии. Внезапно они переплелись, рванулись. Тотчас возникли четкие контуры большого зала, до отказа забитого роботами. На возвышающуюся площадку поднялся председатель.

— Друзья! Роботы! — начал он.

В зале стало тихо, как в вакууме. Робот-магнитофон принялся стенографировать.

— Наш дружный коллектив роботов-ученых собрался здесь, чтобы присутствовать при окончании одного из экспериментов по синтезированию человека. Как показывают расчеты, человек обыкновенный (хомо вулгарис) по своей энергетической экономичности значительно превосходит любого из нас. Поэтому нам хотя бы из энергетических соображений выгоднее создавать человекообразных, чем роботов. Да и вообще современный человек по своему развитию стоит гораздо выше нас. Это известно точно. И вот откуда.

Вы знаете, что с того момента, как нас покинули люди, они не прислали нам ни одной весточки, хотя по некоторым признакам и наблюдали за нами. И вот совсем недавно от них пришла телеграмма.

Рев, поднявшийся в зале вслед за сообщением председателя, содержал энергию, которой хватило бы для недельного электропитания столицы роботов, — это сработала информация № 1. Робот-магнитофон сломался от звуковых перегрузок в первый же момент.

— Люди сообщают, — продолжал председатель, ког-

да стабилизаторы привели роботов в уравновешенное состояние, — что они прекрасно устроились и опять пользуются роботами, которые подходят им больше, чем мы. Прислан и график скорости совершенствования людей. Ясно видно, что скорость их развития несколько превосходит нашу.

Когда-то мы научились синтезировать белок. Вы помните и тот радостный момент, когда мы искусственно получили амебу. Теперь перед вами биологическая камера, где минуту назад окончилось формирование пока еще неизвестного существа.

Дверца биокамеры мгновенно распахнулась, изнутри выскочило длиннорукое волосатое существо, в котором каждый хоть раз побывавший в зоопарке сразу бы признал орангутанга.

Снова зашипели стабилизаторы, успокаивая ученых.

— Человек не получен, — невозмутимо продолжал председатель, — но результат показывает, что мы на верном пути. Конечно, можно уже сейчас наплодить стада обезьян и дожидаться, когда они сами собой превратятся в людей. Но это трудный, мучительный путь как для нас, так и для них. К тому же нет уверенности, что такой естественный человек, созрев, опять не захочет скрыться от нас. Нет, мы сами создадим человека и вложим в него свою информацию номер один — любовь к роботам и механизмам вообще. Мое мнение — эксперименты продолжать...

Старик выключил телевизор, вышел на воздух. Небо уже почернело, звезды остриями лучей приятно щекотали светочувствительную грудь старика. Легкий бриз накатывал свежие волны озона, и старик чувствовал, как мучительно-сладко разлагаются полимерные шарниры его суставов. Он прислушался к гулу моря, подрегулировал окуляры и опрокинулся в густую влажную траву.

Миллионы светящихся точек подмигивали старику с неба. Где-то на одной из них его братья роботы лихорадочно синтезируют человека. На другой — люди конструируют роботов.

— Да, мой друг, — пробормотал старик, — небо содержит гораздо больше тайн, чем знает наша школьная мудрость... Дважды два — четыре!

А МОГЛА БЫ И БЫТЬ...

Вырезка из газеты 2134 года:

«За разработку аппарата, названного Машиной Времени, коллективу фабрики «Время» присвоить государственную премию имени Постоянной Планки».

Ах, какой это был мальчик! Ему говорили: «Дважды два!» Он говорил: «Четыре!»

«Двенадцать на двенадцать», — настаивали недоверчивые. «Сто сорок четыре», — слышали они в ответ.

«Дай определение интеграла», — не унимались самые придиричivé. «Интеграл — это...» — и дальше шло определение.

И все это в четыре года. Малыш, карапуз, он удивлял своими способностями прославленных профессоров и магистров. Даже академик урвал несколько часов, чтобы посмотреть на малыша. Академик тоже задавал вопросы, ахал, разводил руками. Потом надолго задумался и внятно сказал: «Природа бесконечна и полна парадоксов», — после чего сосредоточенно посмотрел в стену и углубился в себя.

— Ах, профессор, — устало возразил Ваня (так звали нашего мальчика), — пустое! Природа гармонична, парадоксы в нее вносим мы сами...

Это уж было слишком. Академик вскочил и, оглядываясь на мальчика, стал отступать к двери.

— Дважды два — четыре! Так и передайте всем! — весело закричал мальчик вместо прощания.

Таков был Ваня. Исключительный ребенок. И это тем более удивительно, что родители ему попались совершенно неудачные. Как будто не его родители. Может быть, каждый из них в отдельности и любил малыша, но вместе у них это никак не получалось. Отец считал,

что гениальность мальчика — итог наследственных качеств его, отца. Мать доказывала обратное. Сын посмеивался над тем и другим, но легче от этого не становилось. Родители ссорились чаще и чаще и, когда это начиналось, Ваню отсылали в чулан. Доступ магистрам и профессорам был закрыт, и широкая общественность вскоре позабыла о Ване. Это случилось само собой.

Но мальчишка перехитрил всех. Он электрифицировал чулан и с увлечением играл в детский конструктор. Да, да, в обыкновенный конструктор, но, конечно, только до того момента, пока ему не попались первые радиолампы.

Он прямо задрожал, когда увидел эту штуковину впервые, он понял сразу, какие возможности таит эта игрушка. Конечно, игрушка. Ведь Ване шел всего пятый год, и он еще не знал, что все эти радиоприемники, телевизоры, мотоциклы, самосвалы и экскаваторы — вся эта техника всерьез. Он полагал, что взрослые просто напросто играют во все это.

Отец Вани, механик мастерской по починке радиол и магнитофонов, таскал сыну испорченные лампы, а тот разрушал их одну за другой, отыскивая скрытые неисправности. Полупроводниковые детали складывались в особый коробок.

Однажды, когда отец заглянул в чуланчик, сын протянул ему небольшой ящичек.

— Вот, — сказал он, удовлетворенно потирая ладошки. — Учти, это только начало.

В руках отца сияла голубым экраном маленькая игрушка — телевизор.

— Да, — только и сказал отец, восхищенно покрутив головой. Потом подумал, пожевал губами и добавил: — Парень, видать, в меня.

Следующим утром он показал эту штучку сослуживцам, хитро подмигнул и сообщил:

— Моя работа!

Истинный смысл слов остался непонятным, а механика повысили в должности. Теперь начальники частенько отводили его в сторону и доверительно сообщали: «Кузьма Серафимович, вот тут у нас не все получается. Надо бы изобрести...» — «Давайте», — властно обрывал Кузьма и забирал чертежи. Он был простым человеком и не любил разводить канитель.

Дома чертежи передавались Ванюшке.

— Общественная нагрузка, — ухмыляясь, пояснял отец.

Ваня молча рассматривал схему, потом брал красный карандаш.

— Вот здесь, здесь, здесь... — карандаш так и порхал по листам, — изменить!

Мальчишка работал с охотой, а взамен требовал лишь исправных деталей и книг по новинкам техники.

Но однажды отец пришел в ателье и сам отозвал начальника в сторону.

— Все, — просто сказал он.

— Что все? — не понял начальник.

— Все, не могу больше изобретать! — отрезал Кузьма Серафимович и загадочно добавил: — По семейным обстоятельствам...

— А как же план?.. — запротестовал было начальник.

— Не раньше чем через четыре года!

Разговор был исчерпан.

Начальник, конечно, не знал, что не далее как вчера вечером Ваня отказался принимать заявки.

— Папа, — сказал он мягко, — теперь я не могу отрываться по пустякам. Я наткнулся на настоящую идею. Четыре года — и я сделаю такую игрушку, что все ахнут. Четыре года.

Отец знал железный характер сына и не стал возражать. Он только с видом сообщника заметил:

— Четыре? Может, и за три справимся?

— Нет, пока что я не управляю временем, — задумчиво ответил Ваня. Он быстро посмотрел на отца и вдруг спросил: — А как ты думаешь, что такое время?

— Время? — Лоб отца собрался гармошкой. — Ну это, когда...

— Ах, опять эти неточные формулировки! — досадливо перебил сын.

Кузьма Серафимович повернулся и осторожно вышел из чулана. То, что он услышал, закрывая дверь, было совсем непонятно.

— Минута живет шестьдесят секунд. Да, да, живет. — И дверь захлопнулась.

Из этого разговора специалисту сразу видно, что необычайный мальчик решил разгадать тайну времени. Человек же, не связанный с тонкостями стыка радиотехники и теоретической физики, конечно, не осознал бы так просто, что Ваня решил изобрести машину времени. Но тем не менее это так.

Да, Ваня решил соорудить именно ее, машину времени. И он добился своего.

В это трудно поверить, доказательств, что называется, никаких. Я единственный свидетель, слова которого могут послужить документом в раскрытии правды. Никого, я повторяю, никого не допускал Ваня к опасным экспериментам с машиной. Только меня, приятеля его детских игр и соседа.

— Люди еще узнают об этом, узнают, — твердил он, когда мы заканчивали очередной опыт и шли на улицу играть с детворой в их незатейливые, старинные игры. «Казачи-разбойнички», «палочка-выручалочка» — они оживляли нас, делали, ну, что ли, более земными. Разумеется, по сравнению с игрой, придуманной Ваней, они казались диким примитивом и нелепицей.

Машина позволяла уноситься в восхитительные дали будущих эпох и погружаться в глубины прошлого. Особенно нравились нам рыцарские турниры. Грязь

комьями летела из-под копыт лошадей, а всадники в красивых латах лупили друг друга мечами и ломали копыя. Как правило, все оставались в живых. Мы устраивались где-нибудь рядом и листали прихваченного с собой Вальтера Скотта, сравнивая с реальностью.

Понятно, после такого «жмурки» во дворе выглядят как наскальные изображения дикаря рядом с киноэкраном. Кстати, бывало, что и наскальные изображения вырубались на наших глазах. Когда мы уходили в седую древность. Какие-то лохматые мужики так отделывали стенки пещер, что только искры сыпались.

И тем не менее мы возились вместе с детворой нашего родного двора. «Так надо, — говаривал, бывало, Ванюша. — Конспирация и еще раз конспирация. Мы не должны отличаться от всех». Он не хотел, чтобы не доведенная до совершенства машина попала в руки взрослых. «Машину поломают», — уверял он, а мне оставалось соглашаться.

Когда настал период погружения в прошлое и ухода в будущее, мы перенесли сеансы на ночь. Соседи по дому, попадавшие в сферу действия машины, уносились вместе с нами. А поутру рычаг времени приводился в нормальное положение, и соседи вставали как ни в чем не бывало, шли на работу. Каждый из них полагал, что в эту ночь ему снился удивительный, великолепный сон, со странностями, правда, но с кем не бывает... Только и всего, сон. Соседи были людьми осмотрительными, осторожными. И никому о странных снах на всякий случай не рассказывали. Тайна оставалась неприкосновенной.

Только один раз словно бес толкнул меня в бок. На трамвайной остановке я подкараулил одного из соседей, длинного флегматичного завскладом Клотикова, заговорщически подмигнул ему и сказал, зайдя сзади:

— А хорош был этот, со страусовым пером на шлеме, с крокодилом на щите?



Завскладом дернулся всем телом, уставился на меня, потом, не раздумывая, прыгнул в подошедший трамвай, и его унесло.

Ванька выслушал это приключение мрачно.

— Или кончаем эксперименты, или такое не повторяется, — отчеканил он.

Я понимал своего друга. Ему доставалось нелегко. Машина барахлила. В последний раз из-за ее капризов едва выбрались из времен Навуходносора. Тем более что дома у него обстановка накалялась. Родители ссорились чаще и чаще. Гораздо чаще, чем во времена наплыва магистров и профессоров. И хотя с того момента прошло достаточно времени, они так и не пришли к единому мнению. Таковы уже были они, Ванины родители. Ах, если бы не эта их преступная слабость!

Все произошло внезапно. Мы пришли к Ване и хотели сесть за работу. Не тут-то было. Родители ссорились. Успокоить их было невозможно. Я заметил, что трюмо уже разбито, а скатерть сдернута в сторону. И еще заметил, как дрожат руки у моего друга Вани. Он ненавидел эти минуты.

— А мы спросим у него самого, — вдруг громко сказал Кузьма Серафимович, увидев сына.

Я схватил шапку и помчался по ступеням вниз. О дальнейшем могу только догадываться.

Машина была настроена на малый радиус действия. Ваня подбежал к ней, рванул рычаг, чтобы перевести время хотя бы на два часа назад. Ему уже случалось успокаивать родителей таким способом. Но руки его дрожали сильнее обычного. Он рванул, и время заскользило. Да, оно ушло за пределы Ваниного возраста. Машина исчезла, исчез и Ваня. А родители только помолодели лет эдак на двенадцать-тринадцать. И еще их при этом разнесло в разные стороны...

Утром следующего дня я пришел узнать, чем все кончилось. Беглый осмотр комнат сразу сказал мне все.

Но я не пал духом. Ведь по железным законам вероятности все должно было повториться. Помолодевшие родители обязаны были в силу этих математических законов встретиться вновь, понравиться друг другу. А вновь родившийся Ваня, конечно, вновь должен был соорудить великолепный и очень нужный человечеству аппарат — машину времени.

Так и случилось. Они встретились. Я подкараулил их под теми же самыми часами, которые послужили местом первой встречи тринадцать лет назад. Я ликовавал. Все шло как по маслу. Прекрасна ты, математическая зависимость, и ты, стальная логика событий! Ване быть! Машине быть!

Но что это? Парень, удивительно похожий на Ваниного отца, и девушка — ну, копия матери Вани — стоят и молчат. Они смотрят друг на друга недоверчиво, с опаской. И вдруг поворачиваются, идут в разные стороны. Мой лоб покрывается испариной. Видимо, память того и другого теперь содержала то будущее, которое поджидало их.

Так не родился мальчик, так погибла машина времени!

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Магистраль проспекта была слишком длинной. Слишком. В этом вся загвоздка. Реконструкция однажды охватила ее исток и лет эдак через пятнадцать с бульдозерами, экскаваторами, бетономешалками, тракторами, со всей рабочей силой доплывала до окончания магистрали. Но технический прогресс, который все годы, естественно, отнюдь не топтался на месте, решительно требовал новой реконструкции, а консерваторов нет, и — ах! — все начиналось сызнова.

Потому все транспортные средства, для сквозного полета коих, собственно, и назначался проспект, годами чадили тут на аварийном ходу, смоговали, а шоферня, простая и таксомоторная, грозилась кулаком электронным бетономешалкам, шептала таинственные газетные слова: «Лучшее враг хорошего!»

Прораб Васькин, пришедший трудиться на магистраль трудным подростком, завершал третий период начальником участка, обладал подшивкой благодарностей и вел за собой третье поколение строителей аллеи, молодых вихрастых Васькиных. Был и он лихим-молодым, строил, пел-говорил:

— Эх, отгрохаем реконструкцию, ну заживем!

Теперь, на седьмом десятке, только побряхтывал, озираясь на редкостные красоты проезжей части. Знал сердцем, спиной, суставами чуял — сзади новая реконструкция знак дает, зреет в чертежах, чтоб зачеркнуть содеянное им, Васькиным, и его потомственным пополнением.

Значит, снова бетон взрывчаткой глушить, плазмой канализацию сечь. Знал, но обиды не чувствовал, потому как знал и другое — незаменим!

Не родился на свете тот, кто лучше старого Васькина трижды штурмовщиной взятую магистраль наизусть понимал: где что в точности крушить, чтоб не вышло рокового срама в новой реконструкции. Всю путаницу подземной коммуникации настырный старик в голове держал. Оттого голову высоко и нес, пенсии не боялся, над начальством чуть что, шутки позволял шутить, о чем, захмелев на фамильных торжествах, хвастал перед династией.

— Приходит, — говорю, — Гришка Романтиков, главный спец по канализации, плохого не скажу, в канализации академик, правду этого дела круто закрутил. «Здесь, — говорит, — подрывать, патронов не жалеть!» — с электронным мозгом совет держал и пальцы в план тычет.

Ну, думаю, гусь со станком мозговал, а живым стариком побрезговал. Ну, ну! «Рвану, — говорю, — аж в ухе лопнет, только не надо бы...»

— Что такое? — гусь удивляется. — Канализации тут никакой.

— Эх, — отвечаю, — не вся в канализации еще жизнь, другие отрасли тоже план перевыполняют. — Загадками, значит, говорю.

А инженер умней всех, ухом не ведет. Только бьем шурф бригадой, глядь, кабелюка высоковольтная, живая гудит, тронешь — всем напряжением бьет.

Романтиков, понятно, хулиганит, на меня валит. Крою:

— Упреждал?! Упреждал! У тебя свой план, электронный, шелковый, у меня свой, тут весь! — и в лоб себе стучу, в грудь, где душа.

Радий Васькин, средний внук с атомным имечком, внимал деду почтительно, однако без того восхищения в складках лица, на которое претендовал дед, выкладывая свои шальные истории. Абсолютное же большинство

родичей выказывало прямой восторг перед хваткой стального, цельнотянутого папаши.

— Золотые руки и голова золотая!

— Пожелает, на нет проспект сведет!

— Куда лахудре Романтикову до бати. Художник!

Радий, спортивный малый, весь как из гантелей скрученный, лукаво помалкивал, мял ладонью молодую бычью шею и усмеялся в адрес сокровенных и, видимо, не лишенных спортивного сарказма мыслей.

— Чего зенки маскируешь? Аль доверия старой гвардии нет? — пытал хмельной дед крепкого своего внучонка. — Вынай, что в душе скопил, кворум тут свой. Гляжу, Родька, глаз да глаз за тобой треба. Бедовый ты, интегральный. По-министерски мечтаешь лететь. Вон Романтиков мечтал, ан по уши в канализации позорной. Да есть, есть на тебя глазок, дедов, луженый, без очков на аршин в землю зрит, азбукой да цифирью не порчен. Уследит, коли с прямой тропы в панталык вдаришь!

Радий скалил жемчужную нить зубов, оборачивал все в застольный тост, не мигая встречал ястребиный взгляд дедушки, но забрало держал на замке. Выдержанного мужика вынынчил природный педагог прораб Васькин.

И неспроста, надо сказать, прораб в колокола костями гремел. За версту, старый хрыч, непорядок чуял — подвох или дерзновенность. С курсовых проектов внучок думку одну в себе тайно культивировал, такую, что ни в какие ворота. С невероятным размахом, немыслимой деловитостью, с нашим, государственным подходом. И комсомольской курсовой организацией полностью поддержан был.

Понятно, в реконструкции идея сия состояла, ибо, когда еще Радия всем кланом в институт определяли, всем кланом постановили — по окончании возводить Радию проспект с остальными Васькиными, и никаких!

Ночами студент с комсомольцами над идеей корпел. На минуту оторвется штангу толкнуть, раунд с друзьями-полутяжами побоксирует, и опять за свое. И такое количество иксов с игреками увязал, что протяни их бисерный ряд по экватору, так вся экзотическая параллель украсилась бы выражениями высшей математики. А корней квадратных и в энной степени насажал! — каждому гражданину страны по штуке досталось бы при верном распределении.

Супергабаритная, на мощных козловых кранах, на атомном полураспаде — что твоя пирамида Хеопса на атомном ходу! — на меньшее бескомпромиссная фантазия потомственного строителя Радия Васькина не шла. Оправдалась родительская интуиция, склепал сынок судьбу с глобальной тайной атома, вычертил в деталях научно-фантастический агрегат, чтоб ветром летел он над проспектом, броневой грудью отжившее разрушал, а позади свежую магистраль отливал, на уровне мировых стандартов и выше их. Чтоб в одночасье блеск, современность, порядок на проспекте учреждать, с кафельными подземельями, в тополином цвету, односторонними треками, питьевыми автоколонками и кафетериями «Дружба» а-ля русс. Комфорт и фарватер. Блиц!

И как однажды спозаранку на стройку с дипломом в руках явился, всю комсомольско-молодежную бригаду цифрами и фактами, идеей охватил. Обаятелен, обаятелен, чертяка Родька, средний внук, из гантелей скрученный. Недаром девки по нем как одна сохли. Кудрями только тряхнет, руку поднимет, слова спрашивая, и так убедительно скажет, как только прирожденный общественик сказать может. И все единогласно!

Но на стороне, вне коллектива словами не сорил.

— Дискуссии нам ни к чему, — охлаждал он горячие головы, которым не терпелось тиснуть публикацию в прессе. И с академическим спокойствием в рамках коллектива завершал агрегат в металле, который, как из-

вестно, легко держит тонные нагрузки на сжатие и растяжение, но может лопнуть и проржаветь от одного неосторожного газетного слова.

Оттого Радий и на семейных торжествах выбирал выражения. Династия-то его всей командой на старой реконструкции играла, а он на новую, ту самую, что старик прораб суставом чуял, распределиться успел. Отрезанный ломоть!

...День, когда агрегату Радия Васькина назначили первую пробу, выдался обычный, сияющий. Роскошное, мировых стандартов светило пылало над страной, проспектом, стройкой его и плакатом «Сдадим через два года, на два месяца раньше срока!» с одной стороны, с другой — «Минута простоя — миллионы на ветер!». Под сенью плаката и укрылась на утренний перекур показательная бригада прораба Васькина, кроме тех, кто делился опытом со смежниками или имел на руках законный бюллетень. Все, как один, вовремя отметили друг друга в табельном автомате и перекуривали теперь в состоянии бодрости, подъема, разливали по стаканам нарзан.

— Разнарядка, значит, такая, — оповещал прораб, хозяйским взглядом измеряя ласковую даль. — Сорок самосвалов грунта плановых да сверх того сорок фонарных столбов корчевать, да три...

— На перевыполнение! — прозвенел кто-то бойкий из самой густоты плакатной тенивы.

— А-а?.. — очнулся старик. Голова его еще не вполне освободилась от гула вчерашнего семейного торжества, и мысли тоже гуляли там. Зазнайка Радька извел его душу, от рук отбился. «Глазищами зырк-зырк, ухмыляется, и точка. Ни о чем. Камень за пазухой отрастил, ясно. Пора крутые меры принимать, поздно будет», — размышлял прораб и прислушивался.

Чистейший, дистиллированный звук трепетал над проспектом, будто в далеком изначалье аллей, у горизонта вызванивал юным альтым сводный пионерский отряд. Столь сольный звук отродясь не беспокоил прокопченную атмосферу владений предводителя Васькиных. Знал толк в голосах аллей художник дела, прораб, принимал их всерьез, симфонически: стосильный рев бульдозера, плач пилы по металлу, вздохи плазменного резака. Детским интонациям места здесь не было.

Между тем пение сменило октаву, раскатисто перевалило на басы, и будто уже не мирный хор мальчиков, а многотысячный стадион бешено рыдал ведерными глотками мужиков в соку, требуя законного гола.

Родник оглушительной волны не стоял, но маршем двигался к стройплощадке в хорошем темпе. Рационализаторы высыпали из-под плаката, пожирая взглядом аллею. По команде все заткнули уши, и вовремя. Из-за поворота, из-за спин высотных гостиниц «Интурист» вывалилась туча, накрывшая проспект во всю ширину, цех на козловых кранах, на ажурном сплетении ферм — в кипении едкого дыма, в зарницах внутреннего огня, в штормовом вое, будто сама Братская ГЭС, обезумевшая от напора вод, сорвалась с мест и объявилась тут. Десятки механических десниц простирались из пылающих стекол цеха, раздирали грунт перед гигантом, жонглировали, вмиг выдергивали столбы и лихо швыряли их по одному ракурсу в поднебесье, за пределы городской черты.

А поверх чада, поверх крайних стрингеров, в хрустальном дупле держал руки на штурвале едва видный человек — все тут же опознали его — отрезанный ломоть Радий Васькин, и аж приплясывал, будто горели подошвы у него. Хорошо ему было под хрусталем!

Промчался комсомольско-молодежный агрегат над бригадой, порхнул, дернул клешней очередной столб и пустил по загородной траектории. А потом взвыл пу-

ще прежнего и спуртом рванул к горизонту, оставляя за собой готовые кафетерии, английской стрижки газоны, парадную шеренгу цветущих тополей, лишь иногда по ошибке всаживая вместо стройного дерева элегантный нейлоновый светофор.

Наконец люди зашевелились, осторожно огляделись окрест, видения и след простыл. А вместо сиял, слепил цветами радуги отшлифованный проспект с пластиковыми треками для автомобилей, с самоходными пешеходными тропинками, под шапкой тополиной листвы, с купальными бассейнами и какими-то неизвестными сооружениями вроде гигантских кофеварок, и чья-то козочка, откуда ни возьмись, уже щипала запретную сладостную травку. Праздник, который всегда с тобой!

Аромат кондиционного сена и естественных цветов щекотал легкие затаивших дыхание людей. Все молчали.

Боком выбрался дед Васькин вперед, горестно махнул рукой. Колени его ходили, на щеке сияла слеза.

— Не усмотрел, — простонал он. — Не уследил за внучонком. Зрение уж не то, что было, на аршин в землю. Конец, значит, вахте.

Нет, не таких слабых, пропащих слов ждал от него народ. Надежды все ждали от предводителя, как матросы от капитана в шторм. И старик почувствовал общий взгляд — сейчас или никогда! Последним напряжением воли на сотни вольт, аж заскрипело волокно костенеющих членов, унял он биение колен, на которых никогда не стоял, согнал пелену с глаз долой, глотнул живительного воздуха, бросил пятерню вперед и, как в прежние времена, отрубил:

— По места-ам!

КОЛЛЕГА — Я НАЗВАЛ ЕГО ТАК

Гремит будильник... Я открываю глаза, полный надежд, что часы идут на час вперед. Но нет, мой второй будильник показывает тоже семь.

Второй будильник появился после того, как я окончательно понял, что одним меня не разбудишь. Пришел момент, когда показалось, что недостаточно и трех. А дальше?

Просыпаясь, я чувствую себя еще довольно свежим. Полным сил. Но несколько минут борьбы с мучительным желанием сна, и я встаю изрядно помятым, мечтающим об одном: снова в постель! Что делать! Научная работа оставляла для отдыха все меньше и меньше времени.

Нет, дело вовсе не в какой-нибудь непомерности моего честолюбия, не в том, что по ночам мне снятся лавры великих. Ах, мне снится другое! Даже дворники моих снов бормочут формулы, подметая мостовые моих снов.

Ведь если не хочешь отставать от тех, кто задает тон в науке, нужно не меньше их и работать. Так что виноваты они, великие. А спят они — ох, мало же они спят!

Помнится, именно третий будильник заставил меня крепко задуматься надо всем этим.

«Вот ты, взрослый человек, — говорил я сам себе, — автор разнообразнейших открытий, изобретатель. Неужели ты ничего не можешь поделать с этим унижительным, недостойным, а порой и просто аморальным состоянием, именуемым сном? Во сне вас может переехать грузовик, побить кучка распоясавшихся хулиганов. Вас вышвырнут с десятого этажа, плюнут в лицо,

незаслуженно вынесут выговор. А вы? Проснетесь, утретесь полотенцем — и как ни в чем не бывало. А кому жаловаться?»

Эти мысли угнетали меня (одного ли меня?), но за дело я взялся лишь после того, как начал просыпаться одетым. Это уж было ни на что не похоже. Тогда я решился...

Электросон, гравитациосон, радиосон, соноплоскостопия — эти мощные, планоно развивающиеся направления, конечно, рано или поздно приведут к успеху. К абсолютному избавлению от сна. Сделают его принципиально ненужным. Многочисленные сотрудники гигантских лабораторий, авторы нашумевших диссертаций, брошенные на развитие этих направлений, ни на секунду не сомневаются, что через каких-нибудь три-четыре десятка лет их труд даст о себе знать.

Известное дело, для вечности, из которой мы появляемся и в которой же исчезаем, этот срок мгновение. Время взмаха ресниц. Для меня же это мгновение, простите, лучший кусок творческой жизни. Ждать некогда, ресницы того и гляди сомкнутся. И уж если наука не готова дать мне абсолютный заменитель, то за частичный заменитель сна берусь я сам!

Эквивалент, биологический эквивалент — вот что следовало искать. Пусть некто спит вместо меня, пусть результаты процессов охваченного спячкой мозга идут своим ходом, снимаются специальным приемником, как снимаются адаптером мелодии с пластинок, и через трансформирующее устройство в очищенном виде передаются моему бодрствующему, наполненному размышлениями мозгу. Этот вкратце изложенный план целиком завладел моим воображением.

Итак, эквивалент, адаптер. Проблема чисто техническая, а потому и решаемая техническими средствами. С ранних лет паяльник не дрожал в моих руках. В детском саду я был первым по монтажу и вторым по бло-

кировке. (Наш сад имел производственный уклон. Там учили паять схемы.) Вскоре прибор встал в углу моего кабинета. Стандартного вида чемодан на колесиках, из тех, что посылают на вокзалы своим ходом, телекомандой или с самоуправлением по программе.

(Помните этот фотоконкурс «Время отпусков» — над вымытыми тротуарами парит утренний полумрак, кругом ни души. Спешит домой одинокий гуляка, галстук набок, на плечах пиджак. А на асфальтах необъятной магистрали плотный, расплывшийся на скоростях поток чемоданов и сундуков. Вылетающие из переулков саквояжи. Затертый большегрузными корзинами одинокий портфель перед красным светофором. Зябко вздрагивает опоздавший мешок. Перрон. Огоньки уходящего поезда. Через час по магистрали с ревом промчатся первые автомобили, и уж тогда вряд ли кто решится выпустить самоуправляемый груз. А пока спешите, мчите стремглав, саквояжи и сундуки, авоськи и портфельчики. Время отпусков, время отпусков!)

Техническая сторона вопроса не беспокоила меня. Опасаться приходилось за другое — за донора сна, личность, отдавшую бы свое время под мой сон, как другие отдают кровь нуждающимся в ней. В наше-то время, когда за минуту простоя у прилавка покупателю выплачивают десятую часть стоимости покупки, когда секунда конвейерной установки — автомобиль, час машинного времени — фундаментальное открытие в математике!

Конечно, подыскать в этих условиях человека, пожелавшего бы спать и за себя и за меня, было делом нелегким. Круг моих знакомых ограничивался людьми науки, рассеянными, милыми людьми, вся мягкость которых превращается в гранит, как только ситуация подталкивает их на лишний час сна.

«Может, броситься в ноги к энтузиасту? — мелькнуло у меня. — Энтузиаст поймет...»

Несколько прямых, откровенных разговоров с энтузиастами привели меня к твердой уверенности, что с ними тоже не сговоришься. Оказалось, что каждый из них сам по себе набит первоклассными замыслами, успевай только осуществлять. Поговорив со мной пятьдесят минут, они впадали в красивую разновидность созерцательности, кивали головами (не мне, уже в такт своим мыслям), барабанили пальцами по столу.

— Ха-арошая мысль, — нараспев хвалили они, — надо осуществлять, надо осуществлять! — И, торопливо собравшись, куда-то уходили. Куда они убегали? Осуществлять мою идею?!

Да, нужный человек должен был быть несколько иным, иного, так сказать, плана. С отклонением от нормы. Короче, такой, чтобы было ему все равно: спать или заниматься чем другим. Но именно таких я и не знал.

Жизнь вечерней улицы — загадка! Слоняясь вдоль ярких витрин, я пытался разгадать ее. Тщетно. Кинотеатры, универмаги, стоянки такси не дали мне ничего. Однажды, уже теряя веру в успех, я зашел в помещение, называемое пивным залом. Прямо у входа за столиком в единственном числе восседал мужчина, в его правой татуированной руке дрожал бокал с жидкостью, скорее всего алкогольных свойств. Он оглядывался по сторонам.

— Жизнь — копейка! — отчаянно выкрикнул он. Ему требовался собеседник.

Так, так. У меня молниеносно созрел план. Через секунду я уже сидел рядом с ним.

— Пей! — Он двинул фужер ко мне, плеснув на скатерть. В носу у меня густо защекотало от спиртного запаха. (Я знал его, этот запах. Спиртом я чищу детали, обезжириваю их. В обмен на старые флаконы его выдают в пунктах химической профилактики.)

— Непьющий, — ответил я, придавая голосу сочув-

ственные интонации, — вот разве так, о жизни поговорить...

— Наука сломала об меня все зубы, — свирепо изрек он.

(«Общение — величайшая роскошь!» — говорит Экзюпери.)

— Лечила, лечила, а пользы никак нет.

Он помолчал, оценивая действие сказанного, улыбнулся, показав золотой зуб, и добавил:

— От алкоголизма лечила...

— Друг мой, — как можно мягче начал я, — если наука не помогла вам, то, быть может, вы поможете ей. Науке.

— Она мне нет, и я ей нет. Баш на баш.

Он был прост в своем великолепном невежестве. Он уже воображал, что наука и впрямь зависит от него. Правда, не все его термины были понятны мне. Но в общем я его понимал.

— А может, дружок, попробуем еще разок?

— На свете счастья нет, — с чувством затынул собеседник, — а есть покой и воля. — Некоторые слова романа он кроил на свой лад, но что делать, я пошел ва-банк.

— Давно, усталый раб, замыслил я побег, — наши голоса сплелись, поплыли над опустевшими столиками.

Обнявшись, мы вышли на улицу. Дома уже притушили окна, отходили ко сну. Запоздалые прохожие почтительно обходили нас стороной.

— Отчаливай! — радостно кричал им спутник, но песню не бросал.

— В обитель даль-льнюю трудов и чистых нег-г, — голосам не хватало тесного уличного пространства, и они уходили вверх, к утопающим в темноте крышам. Да, в обитель. Трудов. Нег.

Мы шли ко мне домой.

Утром я на цыпочках прошел в кабинет, тихо открыл

жалюзи. Золотистый поток пронзил простор кабинета, сквозь узкие прорези жалюзи рвалась теплая солнечная метель. Я огляделся. Все оставалось на местах. В углу стоял готовый к старту трансформатор сна, на диване нежился в крахмальных простынях вчерашний человек. Еще не старый, но осунувшийся, воспаленный, проспиртованный. «Хронический алкоголизм», — значилось в его пенсионной книжке.

— Рассолу, — прохрипел он, не открывая глаз. Банка рассола, играя изумрудными глубинами, уже стояла вплотную к дивану. Это понравилось ему. Он сделал несколько мощных глотков, оглядел комнату, потом закурил, ничуть не удивляясь месту пробуждения. Видно, привык он просыпаться где угодно, только не у себя дома.

— Болит? — я постучал по голове.

— Гудит, корыто, — брови его горестно полезли вверх, — уснуть бы самый раз, да не усну уж.

— Сделаем, — события сами пошли куда надо. — Уснуть сделаем.

Я кивнул в угол, на трансформатор сна. Он недоверчиво проследил за моим взглядом.

Разумеется, будущий напарник начисто забыл все деловые моменты вчерашнего разговора. Пожалуй, и к лучшему. Теперь рядом с грифельной доской я был во всеоружии. В ход были пущены и графики ускорений роста научной мысли, и трактовка энтропийного состояния всеобщего интеллекта, и действующие модели моих последних изобретений: летающие, ползающие, ныряющие, бегущие, счетно-решающие, и еще бездействующая модель главного, будущего изобретения, одновременно летающего, ползающего, ныряющего, прыгающего и притом счетно-решающего.

Услышал он и о пользе внедрения всех этих образцов, а под конец получил обещание, что один экземпляр новейшего образца достанется и ему, по существу

соавтору и товарищу в разработке. Он получил права консультанта.

Графики, формулы и схемы почти не действовали на человека из пивного зала. Он смотрел на них, как, наверное, какой-нибудь древний торговец мехами на сгнившую шкурку горностая, украшавшую в прошлом королевскую мантию. Только изящные в почерке зигзаги фигур Лиссажу на миг задержали его внимание.

— Петляет, значит. Следы замечает, — скучно сказал он и зевнул. Нет, с точки зрения аналитического восприятия мира он был слеп, глух и нем.

Но, как только в комнату ворвались мои автоматы малого калибра и начали плясать, взлетать, кувыркаться, пищать, взбираться к нам на колени, бормоча всякие предложения, он стал сдавать.

— Загвоздочка, — озадаченно сказал он, отцепляя с шеи синтетического чертика, успевшего причесать и sprysнуть одеколоном голову собеседника. Он был заинтригован, ошеломлен. — Такую прорву заделать...

— Коллега! — на радостях я обратился к нему именно так. — Вдвоем-то мы и горы своротим. Кривая интенсивности подскоч...

— Включай. — И он махнул рукой.

Я ли его переубедил, победило ли желание отоспаться, неизвестно. Так или иначе педаль была нажата, и трансформатор, урча, вышел на рабочий режим.

Надо ли говорить, как рванулись вперед мои дела! Вот, слегка усталые, все приходят домой, разворачивают газеты в ожидании ужина. Я работаю. Все расходятся по кинотеатрам, стадионам, кафе, чтобы переключить мозг на иную, легкую волну. А мне ничего не надо, мой мозг свеж, как у новорожденного, и я опять работаю. Полночь. Все ворочаются в постелях, считают до тысячи, чтобы как-нибудь отключиться. Я ворочаю в голове миллионами, кручу арифмометр, шастаю логарифмической линейкой, я наслаждаюсь этими действиями! Нау-

ка, дочь удивления и любопытства, я безраздельно твой!

— А ведь было, было время, — торжествующе говорил я сам себе, — ты проклинал свою неутолимую жажду творчества. Голова трещала, сердце выписывало на электрокардиограммах прямо-таки кренделя, волосы вылезали, как из старой сапожной щетки. Ты уповал на последнее, на докторов — кто еще мог помочь? Мудрецы! Они твердили свое: ледяной душ, фрукты, легкое вино и меньше, как можно меньше работы.

Как бы не так! Меньше работы! Ха-ха-ха! И меня разбирало натуральным, жизнепраздничным смехом. Напарника я разбудить не боялся. Он спал как убитый.

КПД аппарата достигал пятидесяти одного процента. Поэтому вместо меня требовалось спать не 8, а 16 часов. И еще 8 часов, необходимых для него самого. Итого, сутки.

Иногда я будил его, в те дни, когда к работе прибавлялся новый выдающийся успех, завершался этап. Он слушал объяснения если и не с интересом, то, по крайней мере, с заметным любопытством, пытаясь вникнуть в детали. Было видно, как от случая к случаю он все больше проникается сознанием соучастия в важном, безотлагательном деле.

Если после первого сеанса он только махнул рукой — а ладно, чего там, — то через месяц ему уже доставляло удовольствие обводить чертежи рамкой, подкручивать гайки на полусобранных моделях и, заглядывая через плечо, наблюдать, как я убористо заполняю журнал формулами и уравнениями. «А плюс Б, скобка в квадрате», — шевелил он губами. Взгляд его становился все более светлым, разумным, а иногда сосредоточенно-задумчивым, с теми оттенками жесткой мудрости, какая свойственна людям аналитического ума в момент формулирования внезапных и широких обобщений.

«Вот что значит непрерывный сон. Перманентное состояние», — мысленно ликовал я, а вслух говорил:

— Коллега! Уверен, что смогу подготовить вас до уровня техникума. Да что техникума. Одолеем кое-какие программы и самого вуза!

Последнее я восклицал, пожалуй, из чистого энтузиазма, но уж в первое-то верил незыблемо. Напарник уже сделал первый глоток из живительных атмосфер творчества. Теперь выдох — и второй глоток, стойка принята, ноги на ширине плеч.

Несколько месяцев прошли как бы в опьянении, словно бы в состоянии невесомости. В моем институте все только плечами пожимали, когда я устраивал еженедельные доклады о проделанной работе.

— Когда он только успевает? — слышалось из рядов конференц-зала.

— За неделю он способен напечь расчетов и чертежей на новую диссертацию, — говорили в курилках. — Прямой дорогой идет в академики.

— Вас не узнать, — сказал директор, хитро прищуриваясь. — И в кино вас стали замечать, и по общественной линии, и на елке с детьми появились, и чаще других с коллективом на лыжные прогулки выходите. А производственные успехи! Говорить нечего.

На секунду директор замялся и, помахав в воздухе пальцем, добавил:

— Что-то тут не так...

— В том-то и дело, что лыжные прогулки, — ответил я, тоже прищуриваясь с хитрецей, — чистый воздух! Он делает чудеса. Слушайте докторов, дорогой мой директор!

Конечно, можно было и не хитрить, выложить все наистоту. Дескать, так-то и так-то, доступно каждому. Коллектив бы не осудил. К тайнственностям, хитростям лукавым сердце мое не лежало никогда. Но в научных вопросах, не доведенных до принципиального заверше-

ния, иначе нельзя. Так уж повелось. Рвется душа на откровенный разговор, да молчок. Выдержка! А вдруг что не так! Прослывешь любителем легких сенсаций.

(Как было, например, с конструкцией печально знаменитого рога избытка? Нашумели, крику подняли. Перерабатывает утиль в ценности любого назначения! Прямо, непосредственно. В один конец рога — утиль, из другого — продукция ширпотреба! А потом р-раз! — полная катастрофа. Изобретатель гибнет в пучинах собственной конструкции. Агрегат — в клочья. Восстановить невозможно. Оправдываются: на уровне, мол, будущих эпох. Да что там оправдания, позор на все инстанции! Фиаско, короче говоря.)

Береженого бог бережет.

Возвращаясь однажды со службы домой, пешком как всегда, с плащом в нагрудном кармашке, я заметил, что происходящее кругом, уличное занимает меня меньше, чем того заслуживает. Вот вышла из переулка компания разбитных школьников со скрипками в руках, с лихими песенками. Еще вчера я бы прислушался, остановился. О чем поет, как жить собирается беспокойное поколение? Вот кряхтит старушка, силясь одолеть ступеньки троллейна. Несомненно, вчера я пришел бы на выручку поколению уходящих. А тут иду мимо. Неинтересно! Что за чертовщина? Я тотчас сконцентрировался на самом себе.

Да, ничтожное, едва заметное недомогание командовало организмом. Так, легкая дрожь в коленях, испарина послебанного типа, пустяки в общем. И вдруг пришел день, когда к моим уравнениям не прибавилось ни строчки. И ни одной гайки к моделям.

Пошел второй, третий день, рабочий стол начал покрываться отложениями квартирной, горьковатой на вкус пыли. Пришлось проверить аппарат трансформации. Нет, он по-прежнему действовал безукоризненно.

Напрасно я усаживал себя за письменный стол.

В глазах рябило, строчки мелькали передо мной бессмысленно, как телеграфные столбы в окне вагона. Напрягшись, я вдруг осознал, что с трудом понимаю уравнения, составленные мною самим не так давно.

— А плюс Б, скобка в квадрате... — губы шевелились в трудом. Губы саднило едким, осязание жаждало нового, неизвестного.

Неведомое, страстное желание вынесло меня из кабинета в неоновый мрак улицы. Швырнуло, закрутило, погнало через туманно сияющие магистрали. Куда? В темпе ускоренного фильма мелькали мимо прохожие. Вдруг я увидел себя в большом зале за столом. В дальнем конце помещения оркестр наяривал музыку, приспособленную для танцев.

— Триста! — заправски рявкнул я. — И закусить!..

Асфальт тротуара плыл из-под ног, как черная река, уходящая в ночь. Город уже потушил огни. Ноги несли домой. Помню еще, как точным пинком сшиб мусорную урну. Потом другую, третью. Это приносило удовлетворение. Урны, гремя жестяным нутром, катились в неподложенные места.

Но то, что я увидел, добравшись до кабинета, мгновенно отрезвило меня. За рабочим столом сидел напарник, донор сна, и, вместо того чтобы мирно спать, строчил, да, строчил в рабочих тетрадах!

— Это неслыханно! — я шагнул к столу. — Ваши прерогативы...

— Коллега, — услышал я в ответ, — рукопись содержит ошибки. В первых главах безукоризненно все. Но в последние дни расчет запутался. Ингредиенты шалют.

С каждым его словом запальчивость моя возрастала.

— Все уже исправлено, коллега, — чуть усмехнувшись, продолжал напарник, не давая опомниться. — Извольте проверить.

На несколько секунд обычная ясность вернулась ко мне, я впился в ряды строк. Напарник, а может и

впрямь коллега, был прав. Ошибочные места уже были обведены красным карандашом и исправлены.

Я присел на краешек дивана, напротив, в кресле расположился он, и будто из тумана ко мне шли слова, его слова:

— Хорошо ли, плохо ли, но вы не ошиблись тогда, назвав меня коллегой. Факты — упрямая вещь. Как видите, теперь я не хуже вас разбираюсь во всех этих схемах, чертежах, выкладках и машинах. По-видимому, аппарат, придуманный вами, передал мне качества и знания вашего мозга. Войдя в контакт, холодное тело качает энергию из теплого. Пока не сравниются температуры. Так гласит второй закон термодинамики. Заряд вашего образа мыслей перешел на меня. Температуры сравнялись!

Обратная картина. Обработывая наши тормозные процессы, аппарат передал вам кое-какие из моих качеств. Увы, не лучшие. Так случилось. Но общее дело не должно страдать. Плохо, если эмоции помешают делу. Выход один. Спите вы, а я занимаюсь делами. До тех пор, пока мы снова не вернемся к изначальным состояниям.

Бог мой, он говорил моими формулировками! Моими интонациями! Я готов спорить с кем угодно, но что противопоставишь своей логике, своим интонациям?

— Да, эмоции лучше уж не впутывать, — отозвался я безжизненно. Мне было все равно. И аппарат снова вышел на проектную мощность.

Теперь мы подменяли друг друга, как по вахтенному расписанию. Работа, что и говорить, кипела. До чего не догадывался я — догадывался он, даст маху напарник — я выручаю. В особо ответственные моменты аппарат отключался, загвоздка устранялась сообща.

Производственные успехи говорили за себя. Со стороны могло показаться, что ситуация пришла к полному благополучию. А на самом деле? Разве все сводится

к радости от достигнутого результата? Сам процесс достижения с его тревожениями, взлетами тоже цель исканий.

Сознание того, что пятьдесят процентов наслаждения от бурно кипящей работы проплывает мимо, не давало мне покоя. С какой стати дернуло меня делиться своим, кровным с человеком, в сущности, неизвестным, чуждым духу исканий? На каком основании? Впрочем, основание он нашел. Мол, работа выше эмоций, эмоции не должны ей мешать. Мешать! Да из-за них весь сыр-бор, из-за эмоций. Именно их добываем мы в поте лица, в труде. А тут вынь и положь, отрежь от себя пятьдесят процентов.

Конечно, недолго думая, можно было просто ликвидировать аппарат. Но кто мог поручиться, что подсознание полностью освободится от печально приобретенных свойств? Избиение ночных урн вызывало спазмы в памяти. А ведь теперь я мог войти во вкус.

Нет, непредвиденностей больше не хотелось, и однажды глухой, темной ночью под завывание ветра в камине я перебрал механизм аппарата. Настроил его таким образом, чтобы сумма наших биомозговых процессов сложилась иным образом и привела нас наконец к изначальным, стабильным состояниям.

Монтаж оказался сложным, хлопотливым. Чтобы напарник не проснулся, аппарат ни на секунду не выключался, пришлось работать под напряжением. Словом, монтаж занял почти весь период моего очередного бодрствования. Но зато уснул я, как не засыпал давно. Ободренный и успокоенный.

Увы, напарник мой оказался не из тех, кого легко провести. Следы демонтажа были замаскированы отлично, однако непостижимым образом он распознал их. И, в свою очередь, тоже ухлопал весь свой срок на реставрирование аппарата.

Вот где началась борьба гигантов! Он свое, а я свое.

И все молча, с утайкой, будто ничего особенного. Здороваться мы еще здоровались, но чтобы обменяться мнениями, поделиться информацией, этого не жди. И не проглядывалось в новой, мучительной жизни ни конца, ни края. Схватка абсолютно равных возможностей.

Основная работа, конечно, оказалась заброшенной. Куда там — обоих охватило состояние азарта. Кто кого!

Да, в самом деле, кто кого? А вдруг не я его, а он меня?! Вот тебе и прямая дорога в академики.

Я сдался. Я прервал демонтаж и разбудил коллегу. Он проснулся недовольный и удивленный.

— Простите, я не доспал положенное, — ледяным тоном сказал он, поворачиваясь на другой бок.

— Хватит! — в моем тоне появилось нечто от спортивной злости.

Коллега замер, не перевернувшись на другой бок.

— Ни меня, ни вас не может удовлетворить создавшаяся ситуация. Статус-кво, позорное для обоих. Как человек науки, вы должны понимать...

— Да, да, да, человек науки! — Он рывком приподнялся из-под простыни, грудь его мощно поднялась. Русалка, дремлющая на его груди у основания галактического корабля, плеснула хвостом.

— Да, человек науки. И не смотрите на это. — Он ткнул пальцем в русалку. — Не хочу быть кем-то другим. Уговорить не удастся.

— Коллега, стоит ли нам уговаривать друг друга? — Я очистил голос от всего постороннего. — Не уговаривать мы должны, а гордиться. Сообща гордиться тем, что создали вас, нового человека. Доказали, что любой, даже откровенный дурак способен к нетрудовому перевоспитанию. Теперь любой мозг открыт для просветления.

Коллега готовился спорить, доказывать, наступать, а тут наступать не требовалось. Он сомневался: может быть, я заманиваю в невидимую ловушку, тяну время?

— Мозг открыт, да мы-то с вами как двухатомная молекула. Отделился один атом — и нет молекулы. — Он осторожничал, выбирая линию поведения.

— Предлагаю разделяться. Закрепить за каждым жизнь человека науки. По-новому настраиваем аппарат, спим оба, вредные привычки рассасываются, скапливаются в конденсаторных коробках аппарата и выбрасываются вместе с коробками вон. — Я решил прикончить сомнения одним ударом. Мы встали у грифельной доски.

Через час доска украсилась уравнениями, в общих чертах решавшими поставленную задачу...

...С тех пор прошло достаточно времени, чтобы я мог все оценить, взвесить, прежде чем выступить с открытым рассказом об эксперименте.

Мой первый коллега по-прежнему бодр и энергичен, люди науки с удовольствием знакомятся с его последними разработками, журналисты любят брать у него интервью о горизонтах техники. Последних он привлекает неожиданностью образов, доступностью сравнений, какими может располагать только сын улицы, знаток быта читателей.

Ни он, ни я не тревожимся за будущее. Оно обеспечено. Аппарат-посредник, в корне переделанный нами, сообщил ему заряд умственной энергии такого потенциала, что с лихвой хватит и на две жизни. А я, подключенный параллельно, целиком очистился от паразитических помех.

Ошибки прошлого были учтены, все последующие доноры прошли через аппарат без тревожений, психологических драм. Они отпочковались, полные творческих идей, смелых замыслов. Одни пошли в технику, другие углубились в сугубо теоретические дисциплины, даже один скрипач непонятым образом откристаллизовался в ходе смен разнообразных партнеров. Я получал время, они — новое будущее.

Доктора наук, эрудиты — они доподлинно знают о многом, и когда мы сталкиваемся на перекрестках, то раскланиваемся, подолгу стоим, наслаждаемся беседой о последних достижениях наук. А иногда запросто собираемся компанией, все свои. Вот уж где понаслышишься всякой всячины! Особенное оживление вносит история о моем первом эксперименте. Слушают затаив дыхание. Собственная-то их биография оказалась лишенной той остроты переломного момента. Когда просят, достаю старый будильник, говорю:

— Вот с него все и началось. Плохо будил...

СВОИ ДОРОГИ К СОЛНЦУ

Профессор, отстукивая каблуками, сбежал по трапу на взлетную полосу и шагнул вслед за рулоном. Ковер неслышно бросился прочь. Бросился, но тут же притормозил, приноравливаясь к скорости, доступной для человека, отвыкшего от своего истинного, заданного земным притяжением веса.

— Направо, налево, вперед, — диктовал кто-то невидимый с диспетчерского пункта, и профессор с удовольствием подчинялся, легко скользя в разверзающейся перед рулоном толпе.

Приятно быть весомым! Приятно подчиняться! Полтора года он командовал всеми сразу, грустя о времени, когда можно было командовать лишь самим собой. Ах, приятно командовать только самим собой! Вот все встречают его здесь, на Земле. Он вернулся. Все хотят, чтобы он заговорил, зажестикულიровал. А у него комок в горле, как вата. Что сказать? Какую речь? Не расскажешь об этом и не напишешь...

(Видели бы они его лицо тогда. Когда щит гравитонов вздрогнул и прогнулся. И осколки брызнули, завихрились на силовых линиях. Хорошо, что не видели!)

Народ встречал профессора глубочайшим молчанием.

— Никаких эмоций! — приказал медицинский консилиум. — Нервы профессора на пределе!

Никто из них, врачей, не знал наверняка, на пределе или как. Последнее время психоиндикатор слал совсем непонятные графики его состояния. Кривые выписывали лепестки, бутоны, соцветия, а то выходили на идеальное плато, парили над осями, как птицы над степью. Врачи путались в графиках, дискутировали. Но каждый ставил себя на его место и говорил: «На пределе!»

Да, за полтора года кабинетной работы он привык к абсолютной, вакуумной тишине. Отзвуки земной суеты не проникали в глубины герметично закрытого кабинета, подвешенного в космосе где-то меж Землей и Луной. Оттуда он и руководил всей этой прекрасной, захватывающей и, что греха таить, настолько интеллигентной операцией, что всего несколько интеллигентов Земли решились поднять руку, отвечая на вопрос: «Кто же?..»

«Берегут, что ли, мои барабанные перепонки? — размышлял профессор, тревожно вглядываясь в молчащие толпы. — Почему молчат?»

Конечно, распоряжение бдительных охранников здоровья было излишним. Никакое тысячеустое, стадионное «ура» не могло сейчас перекрыть радостной бури, валами идущей в груди профессора.

Большой Сводный Цветомузыкальный в десятую часть силы мурлыкал попури из протонных маршей. Профессор махнул рукой: «Громче!» Дирижеры испуганно оглянулись на музыкантов.

— Еще громче! — профессор решительно рубанул ладонью по воздуху.

Одна из рубиновых труб, рискуя, звякнула, распустив потоки лазерных разноцветных лучей, самоходные барабаны на воздушных подушках грохнули, и народ пришел в движение.

— У-у-р-ра! — трибунно покатилося над обнаженными в почтенье головами.

Профессора вознесли на руки, а ковер покати в обратную сторону.

Да, провожали его не так. Затемненный стартодром, дюжина испытанных сотрудников, молчаливые президенты академий. Приглушенные звуки команд. «Блок питания...» — «Готов!» — «Датчик критических масс...» — «Готов!» Он отклеил карман, сунул туда магнитофон, снова заклеил.

«У любви, как у пташки, крылья!» — зудело в кармане.

В общем-то тогда, перед стартом, план операции прочно гнезвился в голове профессора. Силовое поле помощнее, в его полюсах гравитаторы для искривления пространства, ну и так далее. И он, пожалуй, был спокойней других, не знавших этого плана и не имевших своего. Он уже понял кое-что, успел сопоставить, сравнить. Но сказать об этом вслух пока не решался. Сказать — значило запугать многих, а в те дни нервишки и без того действительно стали сдавать. «Потом, через месяц, оттуда», — твердо решил он.

Задача состояла в следующем. Полтора года назад из-за случайных, как казалось поначалу, внешнекосмических причин возросла скорость вращения Земли вокруг Солнца. Да, со дня на день скорость все возрастала и возрастала. Расчет на уровне домашнего задания школьника показал, в какой день и какой час Земля, покачивая материками, сорвется с древнего маршрута и помчится, говоря ненаучно, в тартарары. (Впоследствии он, этот расчет на уровне школьного задания, и вошел в стандартные программы заданий на дом, вытеснив из них более частную и решаемую с меньшим энтузиазмом задачу отрыва Луны.)

Расчет посложнее выдал траекторию дальнейшего путешествия. И уж совсем замысловатый комплекс вычислений раскрыл одну особо неприятную деталь: пройдя по сложной эллипсоспирали, земной шар точно вонзится в центр дальней планеты Пятак, прозванной так за ее внешнее сходство с распространенной монетой. Тогда... Тут уж и каждому ясно, что произойдет тогда. Фейерверк осколков!

Какие силы повели Землю от ее древнего, испытанного светила? С какой стати траектория подозрительнейшим образом совпадает с самым центром Пятака? Кому это нужно?

Учебники физики, астрономии как ветром сдуло с прилавков. Отцы семейств, содрогаясь и трепеща, похищали учебники из тугих портфельчиков успевающей детворы. За один подержанный экземпляр предлагали аквариум с осьминогом, связку сушеных африканских голов или левитационный набор часового действия.

— Кому это нужно? А что, как и в самом деле — кому!.. — профессор не хотел верить этой гипотезе, однако вопросы веры уже не имели прежнего смысла. Укладывается в мировоззрение, не укладывается — проверяй! Он сел за действующие, функциональные модели Старого и Нового космоса.

Там, в пульсирующем мраке пространств, трепещут на своих орбитах гиганты, карлики, планеты и просто мелкие рудные тела, черепки. Смерзшиеся и вулканизирующие, испепелившиеся и только входящие в силу, в режим предельной мощности, но равно ничтожные перед фактом бесконечного множества подобных себе, они сплетают свои траектории, поля действия в единый, слаженный, ровно вздыхающий организм. Попробуй уследи за каждой клеткой, каждым капилляром необъятного, живого клубка!

Профессор и не ставил такой задачи. Он искал выборочно, именно то, что нужно было сейчас, в нужный момент. Вот он увидел: ничтожная «Сентаво-прим» ушла, нет, еще не ушла, но вот-вот сорвется, уйдет от своего голубого карлика. А вот «Тугрик»: четырехугольный, сработанный, как рыночный чемодан, он уплыл от своего рыжего гиганта. Бесповоротно. На полдороге к Пятаку колышется и посредственная, негодная к жизни «Ночка». Ее зафиксировали лет сто назад, безрадостно внесли в каталог и тут же забыли про нее. Кривая вынесет! А вот ушла...

Таких, сорвавшихся с орбит, профессор насчитал больше дюжины. Длинной, растянувшейся вереницей беспомощно шли они с разных позиций в одну точку,

через равные промежутки времени — в самое сердце Пятака.

— Ах, черт! Красиво идут! — восхищенно воскликнул профессор, отрываясь от расчета. — Красиво... — обмякнув, повторил он. Так опытный боец отмечает про себя изящество коронного удара партнера и уже потом погружается в рассредоточенное состояние нокаута, грогги.

Секунду или две профессор провел как бы в небытие. Но тут же рывком тренированной воли собрал себя в целое, выпрямился.

— Значит, не одни бедствуем. Значит, что-то функционирует, действует, уводит. Какой-то механизм, волновой, гравитационный. Значит... — он сказал это твердо, на полной дикции, через сжатые челюсти.

Забыть обо всем, думать о единственном. С этой секунды гимнастика начинала играть не меньшую роль, чем уравниения и выкладки.

Профессор первым поднял руку, отвечая на роковой в те дни вопрос: «Кто же возьмется?!» Командир требовался решительный, сроки сжимались и сжимались.

«Пятак — мишень. Полигон. Луч гравитационных волн, исходящий из планет созвездия «273ЕА???...Х», обволакивает Землю и ведет ее к мишени. Цель эксперимента жителей «273ЕА???...Х» — изучение ядра Земли методом раскалывания на части ударом о мишень. Сигнал бедствия жителям «273ЕА???...Х» послан, когда-нибудь он дойдет до них. Начинаем сооружение гравитационного щита. Щит — единственный выход...» — такую телеграмму выслал профессор после месячного молчания в своей герметической келье. Ровно месяц, столько испросил профессор на абсолютное молчание.

...Автомобильный кортеж мчал по улицам, запруженным ликующим народом. Комитет любительского общества «ДАЕШЬ СВЕТИЛО!» нажал, и врачи переоценили

ситуацию. «Ликовать!» — разнеслась команда, обязательная для всех.

То и дело перед автомобилем вырастали гигантские полотна со светящимися схемами гравитационного щита. На некоторых профессор успевал различить собственный, слегка подправленный и чуточку облагороженный профиль. Профессор усмехнулся. Что же, он честно заработал новый профиль. Гравитационный луч «273ЕА???...Х» заперт, закольцован. Эксплуатируется в мирных целях. Земля крутится на прежнем месте! Гравитационный щит хоть и потрепался местами, но дело свое сделал.

Теперь, когда кризис разрешился, он мог по праву считать, что ему просто повезло. Операция «Возвращение к Солнцу» — уникальнейший за историю науки эксперимент, оптовая проверка большинства существующих теорий (а какой преданный делу специалист не мечтает о такой всеобщей проверке!), грандиозное промышленное предприятие. Вот когда теория и практика слились настолько, что многие встали в тупик: какая же часть выиграла больше от этого слияния? А «273ЕА???...Х» — ах, пусть тратятся, шлют бездну энергии. Завитая гравитационным щитом в кольца, трансформированная, она уже гудит в проводах высокого напряжения, мчится к объектам большой химии и на кукурузные поля...

Да, просто повезло. Плакаты с профессорским профилем, как птицы, летели с обочин дорог, и торжествующая, однако не лишенная некой иронии улыбка тревожила его лицо. Но вдруг складки его лица закаменели, а лоб перегородился морщинами. Он резко привстал с сиденья, будто увидел впереди неожиданное препятствие, и, перегнувшись к шоферу, прокричал ему что-то в самое ухо. Из-за рева толпы никто не расслышал, что именно прокричал профессор. Но шофер расслышал. Он испуганно обернулся и развел руками, отрываясь на секунду от баранки. Мол, нет, нельзя. Тогда

профессор крикнул еще, повелительно взмахнув рукой. И автомобиль профессора круто выскочил из общей колонны, развернулся, рыча, рванул в переулок. Кортёж секунду помедлил, а потом, ржаво скрипя тормозами, тяжело останавливая разбег, застопорил и тоже рванул туда же, в непредусмотренные переулки.

— Быстрее, быстрее, — требовательно шептал профессор, хотя машину и так уже швыряло из стороны в сторону, как катер на штормовой волне. И весь кортеж швыряло вослед.

— Требуем координаты кортежа! Требуем координаты... — отчаянно несло из диспетчерских пунктов. Но все только пожимали плечами.

— Здесь! — приказал профессор.

Лимузин осел и замер. Профессор выпрыгнул. Вслед за ним вылетали из своих экипажей другие люди из подоспевшего кортежа. Теперь все увидели, куда пригнал профессор, поломав все инструкции торжества. К циклотрону, к гигантскому стеклопластиковому угольнику, резавшему городские кварталы, как нос корабля режет гладь моря. Все знали; здесь до отбытия в космос работал профессор. «Служба элементарных частиц», — значилось над парадным входом.

— Товарищи! — голос профессора сошел на фальцет. — К Главному Рубильнику!

И все бросились за ним через вольготные стеклопластиковые проходы.

— Товарищи! — тяжело переводя дыхание, сказал профессор. Стремительная рукоять рубильника вздымалась над его головой. — Здесь перед самым моим отлетом в трубе циклотрона циркулировала частичка. Удивительная частичка. Лучшая из класса элементарных. Мы хотели расщепить ее ударом о мишень. На встречном потоке. Но каждый раз, подлетая к мишени, она огибала ее. Будто командовала сама собой. Будто не хотела погибать. Это поражало нас. Мы не могли этого

понять. Мы думали, что поймем, когда разобьем ее на части. И с каждым днем прижимали ее ближе и ближе к цели.

Слова профессора гулко шли по пустым пространствам большого зала и тонули в мягких обшивках потолков. Народ стоял молча, не понимая еще, зачем профессор привез их сюда, к законсервированному полтора года назад телу циклотрона. Откуда-то из переплетения запыленных труб вылез человек в промасленном фартуке. Ассистент лаборатории взаимодействий. В его левой руке еще жужжал поисковый датчик паразитных энергопотоков. Он вылез из каких-то люков служебного пользования и замер, опершись на мощное, полированное ладонями древко корабельной швабры. Никто не заметил его.

— Прижимали ее ближе и ближе, — рука профессора легла на эмалированную рукоять Главного Рубильника, — потом я вылетел в космос, опыт законсервировали. Частичка циркулирует до сих пор. Все ее маневры в точности соответствуют нашим маневрам возвращения к Солнцу. По тем же уравнениям. Со своим гравитационным щитом. Вы понимаете?! Частичка разумна! Может, она тоже посылала нам сигналы бедствия. Ее нужно спасти! Выключить разгоняющие поля... — Профессор с отчаянием потянул массу рукояти на себя.

— Поздно, профессор, — негромко сказал ассистент, оставленный при циклотроне. Все обернулись к нему. Он стоял, по-прежнему опершись на свою швабру. — Вакуумная труба циклотрона заполнена воздухом. Частичка проломила трубу. Вырвалась наружу...

ПО ЗАКОНАМ НЕТОЧНЫХ НАУК

Амебы, инфузории и прочие организмы, коих естественный отбор и борьба за существование довели до микроскопического состояния, были страстью Изюмова, в служебное время почтенного профессора теоретических механик. Ну и что? Другие отдают свой досуг рыбкам в аквариуме, собачонкам, выращивают в комнатных условиях бананы. Профессор же вкладывал свое терпение в этот многообещающий, скрытый от взгляда подавляющего числа людей мир мельчайших животных.

Азарт коллекционера накрепко связал Изюмова с этими подвижными, прожорливыми, но, в сущности, невинными созданиями. Часами он мог рассказывать о повадках и ухищрениях простейших, каждый раз по-новому. И только заканчивался рассказ всегда одной и той же фразой:

— Одноклеточные! И все-то у них богатство — ядро, протоплазма, оболочка. — На этом слове профессор, выдерживая таинственную паузу, обводил присутствующих значительным взглядом и добавлял: — Но все-таки их жизнь во многом похожа на нашу...

— Ну уж... — возражал какой-нибудь поклонник борзых и такс, специалист по коленчатым валам.

— А вы приходите, приходите вечером, — заманивал Изюмов. — Посидим у микроскопа, сами увидите.

Но знакомые почему-то не приходили.

Конечно, такое пренебрежение огорчало и прямо-таки приводило Изюмова в недоумение. Сам-то он не гнушался осматривать всяких диковинных сеттер-шнель-клопов, приходил и на чаепития с бананами домашней выработки. А вот все эти многочисленные соседи и дру-

зья по работе слушать слушали, а чтоб прийти да по-серьезному, по-свойски скоротать вечерок, прильнув к окуляру, — нет, на это их не хватало. Отделавшись шуточками, кое-кто заявлял, что рассказы Изюмова сами по себе исчерпывают тему и что после них у микроскопа нечего делать. А сосед, разводящий уникальную породу хищных саблезубых кроликов, якобы боялся убедиться, что его жизнь не отличается от жизни инфузорий.

— Да поймите, — безуспешно протестовал профессор, — я же фигурально выражаюсь. Так сказать, в порядке рекламы начинания...

Такое поведение друзей профессор оправдывал потребительским характером их собственных увлечений. Банан можно съесть, с умницей шнельклопсом хоть беседуй, гуляя по бульварам, а с саблезубым кроликом Стенькой, перегрызшим глотку соседскому бульдому по кличке Краб, ходи хоть на самого тигра. А много ли проку от амебы? Умозрительный интерес!

Однако успехи практичных соседей только распаляли воображение Изюмова, и он с еще большим усердием углублялся в тайны мельчайших. Особым вниманием Изюмов окружал породы, выведенные собственноручно. Были и такие.

В его коллекции попадались экземпляры о двух хвостах, с несколькими ядрами или вообще без оных, а также со многими оболочками — порода, наиболее готовая ко всяким случаям жизни.

Самая же замечательная особь народилась в той колбе, что однажды случайно осталась у распахнутого окна. В ней проживали ординарные на первый взгляд тувельки, и мало кто знал об их странной, почти болезненной восприимчивости к изменению условий существования. В обществе двуххвосток они и сами принимали двуххвостовой вид, в другой компании умудрялись где-то доставать лишние оболочки и опять внешне не отличались от

представителей большинства. А попадая в свою колбу, вновь принимали первоначальные очертания.

Незначительный перегрев или, наоборот, переохлаждение могли разом погубить чувствительную особь. А тут Изюмов возьми да и позабудь их у распахнутого окна, в самой гуще сквозняков и температурных перепадов. И теперь следовало ожидать, что гриппозные и прочие эпидемии начнут косить обитателей забытой мензурки.

Изюмов, конечно, крепко перепугался, увидев такую оплошность, и даже не сразу решился взглянуть в окуляр на результаты разразившейся катастрофы. Скорбное чувство невозвратимой утраты захлестнуло душу профессора. Ну ладно еще распотрошить дюжину перwokлеток в высших целях научного исследования, от нужных жертв не уйдешь. А вот так, ни с того ни с сего отправить к праотцам целую колонию — срам!

Но то ли ветра принесли с собой особую живительную свежесть, то ли возбуждающие шумы улицы взбодрили впечатлительную натуру жителей колбы, только ни одного скончавшегося экземпляра Изюмов не обнаружил.

Более того, в микроскоп было хорошо видно, что они ведут себя оживленнее обычного, на скоростях прошивая объем мензурки.

— Живучие! — радостно констатировал Изюмов, отрываясь от микроскопа.

Профессор знал, что музыка, например, резко ускоряет работу живой клетки. Под аккомпанемент хорошей, бодрящей музыки клетки уживались там, где и самим вирусам туго приходилось. Но неужели случайное сплетение уличных шумов на какое-то время дало музыкальную гармонию и тем спасло биографию эксперимента от ужасного финиша?

— Неужели шумы? Музыка трамваев и самосвалов? — соображал Изюмов, на радостях не зная, куда

и поставить чудную пробирку. Он тут же засыпал в пробирку лучших шоколадных отрубей «Мокко», облучил нежным ультрафиолетом, под которым, как знал профессор, амёбы любили загорать. И несколько радостных слезинок, запутавшихся в стриженной профессорской бороде, ухнули внутрь экспериментального сосуда.

Последнее отрезвило Изюмова — в пробирке ино-родный состав! Нейтрализовать!

Одним привычным движением профессор облекся в халат, в воздухе мелькнула медицинская шапочка, а на растопыренные пальцы накатила резина перчаток, и он застыл над микроскопом. Одна его рука крутила рычажок настройки прибора, другая нависла над полкой, готовая в нужное мгновение выхватить флакон с жидкостью для нейтрализации.

Однако на сей раз флакону не суждено было опрокинуться над пробиркой. Он так и остался стоять на полке, ибо то, что происходило в недрах колбы, полностью исключало необходимость в нейтрализации. Слезинки, всесторонне облепленные множеством одноклеточных, не теряя своей формы, медленно уволаскивались на дно общими усилиями армады амёб.

Профессор Изюмов прянул в сторону и невооруженным глазом уставился на колбу. Это был взгляд человека, заснувшего, скажем, под строгими сводами консерватории, а проснувшегося в дощатом балаганчике гоним по вертикальной стене. Он поплотнее натянул перчатки и снова прильнул к оптике. Сомнений быть не могло. Сваленные в кучу на самом дне слезинки уже замуравывались каким-то изысканно-коричневым веществом. Рецепт вещества профессор определил сразу — отруби «Мокко». Он придвинул к микроскопу киноаппарат, и тот застрекотал, фиксируя редкие в наше время кадры трудового энтузиазма одноклеточных.

А амёбы не унимались. Они пересекали пространство пробирки во всех плоскостях без лишней суеты и столк-

новений. И только одна из них сохраняла невозмутимое спокойствие. Покрытая многочисленными бугорками-щупальцами, она переливалась всеми цветами радуги и царственно колыбалась у самой стенки, как бы позируя перед оптикой киноаппарата. То и дело к ней подлетали другие участники происшествия, притормаживали, секунду колыхались возле, будто выслушивая приказания, затем стремглав мчались обратно, в гущу кипучей деятельности.

— Вот оно что, — задумчиво пробормотал профессор, откидываясь на спинку кресла. — Новый вид. Занесло с улицы. Никому еще не известный образец. Да еще какой. Несущий организующее начало. Ай-ай-ай! — И профессор яростно потирал ладони, расхаживая по кабинету.

Поистине это был день находок и открытий Изюмова. Заполучить такой образец, да так запросто. Да за одну эту колбу он отдал бы все остальные и микроскоп в придачу.

Этот день разом приблизил профессора к долгожданной и, казалось, уже угасающей цели. Он чувствовал, что новый образец поможет наконец разрешить вопрос, из-за которого он, профессор точных наук, погрузился в эти вечерние созерцания микромира.

Собака радуется и горюет. Жизнь соседских такс и шнельклопсов неоспоримо свидетельствовала об этом. Хладнокровная рыба тоже знакома с состоянием счастья: недаром в определенный час она бьет хвостом и, серебрясь, вылетает над подсвеченной гладью аквариумов. А вот дальше, ниже по лестнице интеллектуального и физического развития? Жуки, стрекозы, божьи коровки, червяки, насекомые и микробы? Или на некоем уровне малости природа поставила жесткий барьер, за которым море эмоций перестает катить свои пенные валы?

Верный методам точных наук, в значительной части основанных на понятиях величины, стремящейся к нулю,

профессор Изюмов и здесь обратился к исчезающе малым организмам. На них вопрос решался принципиально: защищены они от действия эмоций, значит, барьер где-то поставлен.

Но возвращенные на питательных бульонах амебы вели себя сдержанно, не выказывая ни радости, ни горя, и единственный, кого это огорчало, был сам Изюмов, но потом он пообвык и стал довольствоваться маленькими радостями коллекционера. И вдруг такое благоприятие!

Амебы, и раньше подражавшие кому попало, теперь взялись за свое с удвоенной энергией. Они круглосуточно толпились вокруг радужного пришельца и нет-нет да и сами поигрывали иными цветами спектра. Дескать, знай наших. Дай время, засияем не хуже других.

Вскоре сияющих радугой представителей стало столько, что Изюмову стоило трудов отыскать родоначальника всего этого явления. Тогда он рассадил весь народец по разным склянкам с таким расчетом, чтобы в каждой из них осталось по одному радужному экземпляру.

Легко было ожидать, что амебы растеряются. Но нет, в каждом сосуде установилась четкая субординация, а общий порядок по-прежнему наводил сияющий экземпляр. Изюмов понял, что новое явление бесповоротно утвердилось в быте мельчайших, и тогда снова собрал всех в большое стеклянное ведро.

Недели шли чередой, а амебы и не собирались мешать свои подразделения: теперь каждой склянке соответствовал свой объем ведра. В одном месте начинали возникать постройки с микроскопическими ячейками («жилплощадь!» — понял профессор), в другом месте зазеленела ткань водорослей — там решалась продовольственная проблема. Словом, принципы районирования и специализации утвердились в недрах прозрачного бочонка.

Только иногда все, как по команде, бросали работу, и

тогда амёбы, собираясь в цепочки, начинали водить столь бешеные хороводы, что у профессора рябило в глазах, а в ведре били ключи и рассыпались фонтанчики, как в закипающем чайнике. Профессор почти не сомневался, что проявление эмоций налицо. И что анатомическое доказательство этого не за горами. Оставалось вскрыть образцы и разыскать нервные центры эмоционального восприятия.

Эффект сияния между тем возрос настолько, что на отдельные экземпляры трудно было смотреть, ломило в глазах. Вечерами, когда с записями в лабораторных журналах было покончено, Изюмов широко открывал окна, выключал свет и покойно устраивался в кресле напротив стеклянного ведра. Водная толща посуды ровно светилась теперь млечным светом, там и сям вспыхивали дрожащие звездочки, и тайные плески вплетались в городские отзвуки, бродящие по затемненной квартире.

Профессор пропускал долгие, задумчивые взгляды через оконный проем, посматривал и на расцветшее в сумерках ведро, пальцы его выстукивали на рукояти кресла октаву за октавой. Что происходит там, в этом тихом омуте, маленьком океане со своими течениями и вихрями? Еще вчера профессор мог твердо ответить: то-то и то, все по известным законам микробиологии. Но за последнее время в душу Изюмова вкралось ощущение, будто существование обитателей ведра наполнялось новым и секретным содержанием. И будто бы стоит только ему, Изюмову, подойти к ведру, все население его тотчас бросает свои главные дела и начинает заниматься чем угодно, только не тем, чем секунду назад.

Настораживало и поведение лабораторного кота Скальпея. Был кот как кот, и вдруг словно подменили. Стал то и дело крутиться вокруг стеклянного ведра, что-то мурлыкать. А однажды из каких-то дальних подвалов приволок мышь и уложил возле самого ведра. Само со-

бой, амёбы тут же устроили роскошную пляску с фонтанами и родниками. Выгнув спину дугой, Скальпель пожирал взглядом бушующую картину новой стихии.

Инстинктом исследователя Изюмов чувствовал, что дальше медлить нельзя. Нужно действовать, пока ход событий окончательно не вышел из-под его контроля. И после случая с мышью профессор впервые распотрошил несколько радужных образцов, начав тем планомерное исследование внутренностей уникальной породы. Одних он просто резал на мелкие кусочки, добываясь до сокровенных центров амёбной психики, других подвергал воздействию мощного арсенала современного лабораторного оборудования и отпускал обратно. Меченые образцы он крутил на быстрых центрифугах, вводил в радиоактивные лучи, помещал в атмосферу ядохимикатов и так далее. Его особо интересовал вопрос, в какую сторону пойдет развитие участков колонии, где поселились меченые и отпущенные на волю образцы.

Он брал нужные особи пачками, обрабатывал соответствующим образом и пачками отпускал обратно.

И что же? Не успевали меченые экземпляры оказаться в своем обществе, как к ним подтаскивали какое-то полупрозрачное пятно, цепочка меченых медленно сквозила через него, и все следы действия лабораторного арсенала как рукой снимало.

Что мог поделаться человек в условиях вольного или невольного, но столь упорного сопротивления? Другой бы на месте Изюмова махнул рукой: живите! Но профессор уже вошел во вкус единоборства, начатое требовало продолжения.

— Наука требует жертв, — сказал он однажды, на цыпочках подбираясь к ведру. Его правая рука сжимала ситечко для отлова образцов.

Да, он решил обезглавить стихийное движение сопротивления, разом изъяв из ведра самых ярких представителей им же возвращенной фауны и флоры. Эконо-

мичными, отточенными за годы практики движениями он быстро осуществил план, и сверхтонкий скальпель уже готов был войти в розовое тело первого светляка, но тут произошло непредвиденное. Зашипев, свежееотловленный образец ярко, как лампочка на последнем накале, вспыхнул, и вслед за ним рванули остальные образцы. Едкий дымок коснулся ноздрей Изюмова. От великолепной, лучшей подборки светляков первой величины остались одни лишь тлеющие лохмотья.

Профессор испуганно обернулся к ведру. Почти слившееся с темнотой, оно стояло на прежнем месте, притушив огни до последнего. В его обманчивом спокойствии мнилось что-то угрожающее, карающее. Нервы профессора сдали, он вытер влажный лоб и, шумно задышав, шагнул к окну.

Далеко внизу, на тротуарах улицы, толпился вечерний народ — влекомые по своим траекториям точки. Там, на днище городского парникового лета, — мужчины, женщины, дети, продавцы мороженого, разносчики газет, пьющие газировку хозяйки с сумками, холостяки с пакетами в руках, рвущиеся на недозволенные сеансы подростки — с высоты профессорского этажа они теряли различия, точки, следующие по своим делам. Вон вспыхнул, замерцал огонек — кто-то сунул в рот сигарету, вон еще закадил огонек, ни дать ни взять профессорская коллекция, зажигающая вечерние огни. Изюмов даже вздрогнул от этого сравнения. Он инстинктивно обернулся назад. Внутри ведра сиял тонкий пурпурный жгут: это амебы собрались в единую цепь, выписав лигату, как вывеска крендельной, надпись:

«Немедленно покиньте помещение! Вы надоели!»

Первое, что бросилось в глаза Изюмову, когда на следующий вечер он отворил дверь лаборатории, — настежь распахнутое окно. Ведро, опрокинутое набок, лежало на подоконнике. Оно печально звенело под слабым напором косых струек дождя. Профессор бросился к под-

оконнику — да, все содержимое уже пролилось в дождевую воронку под окном. Профессор тихо двинулся к креслу. Он сдался.

В этот день Изюмова постигло еще одно разочарование. Лабораторный кот Скальпель бесследно сбежал.

А амебы? Какие сюрпризы преподнесет им новая судьба? Промчавшись по городским трубам, мимо глубоких канализационных колодцев, они вынырнут в каком-нибудь веселом ручейке, среди березовой прохлады или меж омутов и заводей, где медленно плещут налимы. А может, уйдут и в самые моря, океаны, где под вечно голубым небом пенится прибой, а ветра свежее самых свежих ветров большого города.

ТРАНЗИСТОР АРХИМЕДА

Глава I, в которой Архимед задает задачу ученым XX века

Лаборатория расшифровки триплетного кода давно уже перешла на круглосуточный график. Она работает как «скорая помощь» — в любое время суток, хотя так называемой жизненной необходимости в этом нет никакой. Продукция лаборатории касается одного — прошлого, а разве можно чем-нибудь всерьез помочь прошлому? Сожалениями не поможешь. Свершилось — и баста!

Однако что может волновать нас, как волнует прошлое? Разве что будущее. Настоящее же и так хорошо известно. Но будущее — оно за семью печатями, а прошлое, пожалуйста, на экранах лаборатории. Заходите в любое время суток, над входом плакат: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЛЮБИТЕЛЯМ СТАРИНЫ!» В три часа ночи, в семь утра заходи. На экранах вспыхивают видения. Триста лет назад, тысяча, пять тысяч...

Веками человеческие гены — хранители информации — автоматически зашифровывали эту наследственную информацию, запоминали происходящее и транспортировали новым поколениям все более тяжелый груз памяти. Триплетный код насыщался новыми точками-тире. Здесь, в лаборатории, клубок разматывался в обратную сторону, автоматически расшифровывался, и на экранах загорались отпечатки картин, прошедших перед глазами деда, прадеда, пра... пра... спускаясь по генеалогическому древу все ниже и ниже.

Погружение в прошлое. Оно как погружение батискафа в темные недра океана. Все сумрачней его кар-

тины, нарастает давление пространства, скоро ли дно? Но дна нет...

Один из прошловековых отпечатков особенно поразил воображение специалистов. Казалось бы, в снимке ничего грандиозного. Ни Помпей, заливаемых лавой, ни конницы Чингисхана. На первый взгляд просто бытовая сцена. И однако, как только на сфероиде серебрящегося экрана туманно засиял кадр, зрители застыли, а с галерки, заполненной рядовыми, а потому малосдержанными любителями, донесся сдавленный полувывыкрик:

— Да ведь это же...

Какой-то благоразумный сосед тотчас зажал рот любителя.

— Может быть, и так, — внушительно, после солидной паузы отозвался кто-то из титулованных экспертов. — Может быть, там, на галерке, и не ошиблись. Но... Впрочем, беру свои слова обратно!

Последние слова эксперт произнес торопливо, будто обрывая сам себя, отчего общее впечатление правоты того, с галерки, только усилилось.

Когда посторонние разошлись, древний академик по триплетному вопросу внушительно обратился к эксперту:

— Что ж вы, батенька, так сразу? Может быть, может быть... В жизни все может быть! Да только... Эх вы! Авторитета вашего только может не быть.

— Так ведь брал же слова обратно, — оправдывался эксперт.

Снимок, вызвавший столько противоречивых эмоций, был в общем-то незамысловат. Скамейка, человек в хитоне с прутиком в руках да меч, занесенный над головой сидящего. Меч без насечек, без узоров, лишенный служебного кокетства и двусмысленности: видно, в руках владельца он был просто орудием производства. Человек в хитоне не смотрел на меч, он смотрел куда-то

вверх, вероятно, в глаза того, кто пожелал разрубить его на части. А по песку вились какие-то узоры, только что вычерченные прутиком. Линии, треугольники, кружочки, сплетенные в непонятную для геометра фигуру. Похоже, что человек в хитоне был увлечен решением какой-то задачи, как следует углубился в нее и вдруг заметил, что его убивают. Все было именно так, как в известном предании о гибели Архимеда. Отсчет кадра по времени сходил с календарными датами Архимеда. Самое поразительное заключалось в рисунках на песке — под ногами Архимеда отчетливо прорисовывалась схема серийного транзисторного приемника. «Спи-дола» не «Спидола», но что-то в этом роде...

Глава II, в которой Архимед открывает закон Архимеда. Время действия — III век до н. э.

— Эврика! — закричал он и пулей вылетел из ванны.

«Эврика! Эврика!» — пульсировало в голове, пока хрустящие простыни сушили бронзовое тренированное тело Архимеда.

«Впрочем, эврика ли?» — Архимед опасливо глянул на зеленоватую, со сломавшимся в ней лучом солнца воду бассейна.

«Эврика ли?» — Вода по-прежнему играла солнечными зайчиками, легко, как соломенные пучки, ломая вошедшие в бассейн копны солнечного света.

Будь на месте Архимеда личность попроще, с более турбулентным мышлением, внимание личности, может быть, переключилось бы на игру ломающихся лучей, и человек задумался бы над загадкой их преломления, а то взбрела бы на ум другая задача, что-нибудь вроде «Из бассейна А вода льется в бассейн Б...», и он позавыл бы о только что открытом физическом законе, променял на другой. Но теперь перед бассейном стоял он,

не кто-нибудь другой, а именно он, тренированный в небывчивом мышлении Архимед, обвитый напряженными мышцами, замкнувшийся на одном, как атлет перед броском диска. Мысль поймана за хвост, она бьется, вырывается из рук, но хватка Архимеда железна. Вот он стоит, смотрит в бассейн. Нет, он не видит причудливых слов ныряющих под воду лучей, и лихие зайчики, срывающиеся с водной глади в зрачки Архимеда, не слепят его глаз. Преломление света потом, кто-то другой... Сейчас он весь в одном.

«В воде мне было легко... Значит, и любому телу легко... Значит, помещенное в жидкость тело настолько теряет в своем весе, насколько... Впрочем, насколько?»

И Архимед вдруг разбегается, прыжок, летят брызги, он снова в бассейне. Эксперимент продолжается. Без жертв, без риска, но на самом себе.

Глава III, в которой жители иной планеты решают провести опыт над Архимедом.

Время действия — III век до н. э.

— Штурман, куда девался наш главный любитель неточных наук? — спросил командир. — Арбузокактус плачет по нем.

— Главный? — на секунду задумался штурман. Все они, космонавты, специалисты в физике и математике, как и все углубленные специалисты этих дисциплин, были любителями наук неточных. — Вы имеете в виду специалиста по мыслящим существам?

— Да, по мыслящим. Веществам, естествам, субстанциям, подлежащим, прилагательным, сказуемым, существам, наконец. И всемыслящим. — Командир выпалил все это единым духом и теперь остановился перевести

дыхание. Разнообразие форм братьев по разуму сидело, видно, в капитанских печенках.

— Он снова ушел на диспут софистов, — ответил штурман, — хочет докопаться, мыслящие здесь или так, подкорковые.

— Да, загвоздочка, — отозвался командир, — но, знаете, все-таки приятно, что хоть существа, а не мыслящие грибы. Надоели грибы. Существо, пусть даже без шариков в голове, ей-богу, приятнее этих высокомыслящих веществ, соцветий, сублимаций неустойчивых. А, как по-вашему?

— Да, командир. Точно. Не могу забыть случай на Кассее. Этот обдумывающий что-то арбузокактус. Ну и мыслишки у него завертелись при нашем виде. Сразу понял, что течет в жилах человека. Калорийный продукт! И ведь едва увернулись.

— Да, увернулись. А вот практикант... Н-да... — И в морщинах лица командира легли траурные тени.

— А ведь это ужасно. Проглочен, а будет жить. Только вырваться из чрева не сможет. Ужасно жить проглоченным. Лучше уж... Да как?

— А помните этот чувственный суглинок? На Эрбунде. Прилег, понимаешь, только вздремнул — и готово. Прут в глаза видения. Гарем, да и только. Стыдно перед семьей. Гадость. Не-ет, существа нам понятнее.

— Да, на Эрбунде все могло кончиться полным моральным разложением. Тогда конец. — Командир поиграл желваками и сжал кулаки.

На самом деле штурман несколько иначе относился к приключениям на Эрбунде. В другой компании он рассказал бы о них смелее, с шутками и подмигиваниями. Но командир — нет. Он отвечал не только за материальную часть, но и за дух экипажа.

— Привет! — хлопнула дверь, и в рубку ввалился

третий, крепкий парень с могучей шеей и какими-то прямо таранами вместо рук.

— Как диспут? — командир хозяйским взглядом окинул всю эту гору мышц.

— А! — Существовед безнадежно махнул рукой. — Схоласты. Кошмар. Не с кем перекинуться словом. Опять передрались.

Специалистов по мыслящим существам всегда подбирали в экспедиции из таких вот здоровяков, из тех крепышей, что живут без бюллетеня. Мыслящие существа на всех планетах — это мыслящие существа: вспыльчивые, а то и склонные к последним крайностям. Особенно те, что имеют дурную привычку прикидываться безмозглыми стволами, ручейками, игривыми дуновениями, недвижимыми арбузами. Так что, несмотря на геркулесовские возможности, существоведам приходилось частенько улепетывать. Но сегодня, видно, все кончилось сносно. Наметанный глаз командира отметил это сразу. Намял, видно, схоластам бока, и привет, до следующего выяснения.

— Вот, — искатель мыслящих существ показал мякоть руки, — укусил, мерзавец. «На китах, — говорит, — все поконится», а потом бац, и укусил.

Командир улыбнулся, а штурман захохотал.

— Нет, вот молодец. Надо же. Укусил. За правду стоял. За китов, — постанывая от смеха, выдавил из себя штурман.

— Я, правда, и сам малость начудил. Подхожу к ним, спорят они. Все в хитонах. Солнце, между прочим, вовсю печет. А я с факелом в руках. «Зачем, — спрашивают, — факел? И так светло». — «А я, — говорю, — освещаю, человека ишу. Здравомыслящего. Днем с огнем». Ну, они в амбицию. Мол, а мы что, не люди? «А вы схоласты», — говорю. Обиделись.

— Войдешь в эпос, — покачал головой командир.

— Войду, — радостно подтвердил здоровяк.

— Значит, ищешь человека? — Командир, видно, что-то уже обдумал. — Есть у меня на примете один человек. Есть. Схоласты, воины — это все не то. Понимаю, нужен кто-то другой. Вопрос перспективности мышления на схоластах не решишь. Но вот есть один, говорят, на днях, не выходя из ванны, он открыл закон плавления в жидкости. Вдруг этот парень и есть то, что нужно?

— Попробовать можно, — попытался согласиться специалист, — шанс есть шанс.

— Архимед не укусит. Предчувствие, — вставил словечко штурман.

— Погодите, — нахмурился командир, и штурман осекся. — По какой системе поведете опыт над Архимедом? Не забывайте, опыт должны вести мы над ним, а не он над нами.

— Я думаю так, — атлет задумчиво уставился в иллюминатор, — он только что открыл закон... Архимеда...

— Ну, ну, — подбодрил командир, — предположим, так этот закон и назовут.

— Так вот. Я сразу перескочу в другую эпоху. В эпоху других законов.

Я объясню ему, положим... Да, объясню радиотехнику, сразу транзисторную. Если он сможет понять, то... Понимаете меня? Своеобразный тест на умственную выносливость, взгляд вперед. Поиск их умственных пределов? Идет?

— Ну, радиотехника еще ничего, — облегченно вздохнул командир. — На Зигпоее вы объясняли кино. Жизнь забыта, развитие кончено, зигпойцы смотрят кино. Ладно, радиотехника пойдет! — И командир хлопнул специалиста по спине. Он любил эту спину, покрытую пластами мышц. Он любил хлопать по ней. По ней можно было очень сильно хлопать.

Глава IV, в которой действие снова переносится в XX век

— Да, не помогла Архимеду радиотехника, — печально сказал начальник отдела древних времен.

— Да, зарубили, — подтвердил аспирант лаборатории триплетного кода, — и Архимеда зарубили. И схему зарубили. Как на защите диплома.

— А может, триплетный код наврал? — смущаясь, спросил молоденький репортер вестника «Наука всегда».

— Триплетный код не врет никогда, — отрезал эксперт.

— А может, помехи в код ворвались? — смелея, наступал репортер. Он вспомнил, как однажды слякотной ночью ворвался в одну компанию и как оттого все перепуталось, смешалось...

— Может, может, — раздосадованно перебил эксперт, — все может быть. — Но тут эксперт вспомнил академика и покраснел, потому что академик собственной персоной появился в испытательном зале.

— Ну-с, друзья. Какие вести из Греции? Что от Архимеда? — академик сказал так, будто Архимед числился его соседом по заседаниям в академии. — Включите Архимеда, — кивнул он аспиранту, и на экране снова замерцала нашумевшая картина. Академик обошел экран, потрогал его рукой, простецки улыбнулся, развел руками. Все молчали. Весь вид академика говорил: «Вот, батенька Архимед. Неприятность. Будь я с вами, мы бы уж вдвоем что-нибудь придумали. Отбились бы от римских варваров. Будьте покойны! И в схемочках разобрались бы. А так абсурд. Непонятно. Архимед — и «Спидола»! Зачем?»

— Мы вот что тут думаем, — кашлянув в кулак, сказал эксперт, — сам Архимед схемы такой не изобрел. Не мог дойти он до этого в своем умственном развитии.

В развитии своем он только дошел до закона Архимеда...

— Он его открыл, этот закон, — сухо усмехнулся академик, и все усмехнулись, хотя несколько иначе. — Запатентовал на века. А вы говорите: дошел, дошел. Как ученик шестого класса. Ну а что вы скажете, дорогой аспирант? — И академик всем корпусом повернулся к аспиранту.

— Что же, зарубили Архимеда, легенда не обманывает, — трудно было понять, смеется аспирант или серьезно это говорит. — И схему зарубили. А схему передали ему марсиане. Больше некому. — Аспирант выжидательно замолчал, твердо глядя в глаза академику.

— Марсиане! Негоже нам марсиан подшивать к делу. Да и кто видел этих ваших прекрасных марсиан? Вы видели? — сердито, но уже без прежней сухости возразил академик.

— Я не видел. Но... если марсиане передали схему Архимеду, мы их найдем. Увидим. — И во взгляде аспиранта мелькнула некая загадочность, да, обещающая загадочность.

— Так, — академик направился к выходу, — увидите, тогда докладывайте.

— Обязательно доложим! — крикнул аспирант, но дверь за академиком захлопнулась. — Мы найдем второе видение смерти Архимеда. Кто-то из детей пришел за телом отца и видел схему своими глазами.

Мы наткнемся на схему вторично. Картина, которая у нас уже есть, снята с триплетного кода праправнука римского legionera. Теперь нужно найти праправнуков Архимеда. Код Архимеда даст нам все, что нужно.

— Так, — подхватил эксперт, в отсутствие начальства он чувствовал себя увереннее и приобретал способность увлекаться, — найдя такой снимок, мы начнем трясти все генеалогическое древо Архимеда.

— Да, начнем трясти, — аспирант решил сам докон-

чить свою мысль, — и вытрясем другой кадр. Архимед беседует с марсианином. Получает от него схему. В этот момент грек испытывает сильные переживания. Они не могли не врубиться в код. Тогда мы увидим марсиан.

— Вот, убивали, убивали, — вмешался вдруг паренек из газеты, — посмотрите, весь род этого итальянца — воины. А он отдыхает в кабачке на берегах Ривьеры, попивает натуральное вино. — Репортер мечтательно задумался. — Будто его предок и не убивал Архимеда. Никакой ответственности.

— Сын за отца не отвечает, — убежденно сказал юрист лаборатории.

— Ну, этого мы еще не знаем, — возразил эксперт, — триплетный код тоже имеет свою чашу терпения. Пределы напряжения. Где-то переполнится чаша — и взрыв, вырождение. Неполющенное потомство. Новорожденный расплачивается за грехи отцов. Вот ведь и так может оказаться.

— Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Сказано в писании, — поддержал юрист. Он мыслил правовыми категориями почти всегда. — Впрочем, успел ли Архимед обзавестись детьми? Вдруг он был из стойков? Что тогда?

— Дети, дети, дети, шкаф семнадцать, полка, ящик... — вдруг забубнил начальник древних времен, отбивая костяшками пальцев по столу. — Ага, есть. В манускриптах плательщиков налога за бездетность Архимед не значился. Припоминаю.

— Возможно, уклонялся, — репортер вспомнил, как один ответчик уклонялся, а потом попал в фельетон и выплатил сполна.

Начальник времен тихо и как-то осуждающе посмотрел на репортера. Веки начальника набежали на глаза. Он впал как бы в сомнамбулическое состояние, и только костяшки пальцев, как метроном, отстукивали по столу.

— Нет, не уклонялся, — наконец отозвался начальник. — Есть запись ходатайства Архимеда насчет яслей. Да, хлопотал.

И глаза начальника открылись до полного размера.

Глава V, снова III век до н. э.

— Ну, как постигаете? — спросил командир.

Человек в хитоне продолжал что-то чертить на песке, насыпанном в специальный ящик. Он не услышал вопроса, не заметил подошедших космонавтов.

— Неладно, — сказал существовед, — как только понял, о чем речь, все на свете позабыл. Лепит схему за схемой. Встряхнет ящик и снова за свое. Ничего не замечает. Хоть из пушки стреляй.

— Что же его убедило?

— Теоретическим предпосылкам отказывался верить, — объяснил существовед, — пришлось демонстрировать действие. Помните, уносил аппаратуру? Результат налицо.

Архимед по-прежнему сидел, согнувшись над ящиком.

— До самой смерти просидит. Хоть убивай, не встанет.

— Отлет назначен? — спросил существовед, отрывая взгляд от чертежа.

— Через два часа. Больше тянуть нельзя. Все ясно. Выяснено. — Командир кивнул на ящик со схемой.

— Не хочется мне улетать. Клад для экспериментов. — Существовед вздохнул, и легкие его зашумели, как мехи.

— Прощайте, Архимед. — Атлет положил руку на плечо человека в хитоне. — Прощайте.

— А! — Архимед очнулся. — Вот не знаю, как заземлить...

— Улетаем, — сказал командир, и Архимед все понял.

Брата четыре равны.
Соревнуясь как будто друг с другом,
Ровно и чинно бегут, и от века их труд неразделен.
Близко один от другого.
Коснуться ж друг друга не могут, —

продекламировал Архимед. — Правду говорите. Не боги ли вы посланные? — Он переводил взгляд с одного на другого.

— Увы, нет, — улыбнулся атлет, — мы — это вы, только потом, не скоро. И тебя с собой не возьмем. Здесь, в свое время, ты нужнее.

— Да, я нужен им, — задумчиво согласился Архимед.

— И вот что. Обязательно обзаведись детьми. Говорю как друг.

Космонавты переглянулись.

— Дети? Для чего размышляющему наследники? Примут ли они от меня мое? Река впадает в море, река не разливается на ручейки.

— Это нужно. Нужно для будущего, — торопливо произнес специалист по поиску разумных.

— Вам верю. Обещаю. — Архимед сумрачно кивнул.

— Ну пора. — Командир бросил последний взгляд на ящик.

Космонавты медленно побрели прочь. Только штурман задержался на какое-то мгновение.

— Слушай, говорю не как друг, а как бог, — шепотом сказал он, — обзаведись. Обзаведись потомством.

— Уже обещано, — Архимед презрительно усмехнулся, — не я, тиран Гиерон изрек: «Архимед сказал — достоверно для всех»,

АКСИОМЫ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

Что там ни говорите, а поездка по железной дороге имеет свою прелесть. Лайнер рационален. Он пускает в свое алюминиевое брюхо пассажира, чтобы как можно скорее избавиться от него. «900 километров в час», — бесстрастно объявляет ложенная, отлакированная стюардесса. В руках ее сияет художественный поднос, в фужерах пузырится ледяной кипяток — нарзан. От вибрации нарзанный разлив подернут мелкой рябью, а хрустальные глубины чуть не звенят. Но ваши мысли еще далеки от нарзана, от Баку или Ашхабада, куда держит путь стальная птица. Они еще дома, мысли часовой продолжительности. Вдруг толчок, просьба покинуть помещение, ставьте хронометры на ашхабадский лад. Приехали!

В транзитных поездах не поят модной шипучкой. Исконный чай, минералов в нем нет. В виде накипи остались минералы на днищах титанов. Кителек разверзнут, козырек набекрень — несет звонкие стаканы бывалый проводник. Нос картошкой, брови давно уж мошь съела, да свой парень, одной с нами гордости.

В купе фиолетовый полумрак. Чаи уже выпиты, мирно беседуют пассажиры. Уж тут услышишь! Вот, например, как повезло мне в этом отношении однажды!

Пассажир на верхней правой полке оказался энтузиастом тунгусской катастрофы. Он живал в самом эпицентре взрыва, исходил его вдоль и поперек и вернулся оттуда убежденным сторонником марсианской гипотезы. Из нагрудного кармана, оттуда, где другие держат портреты жен, он доставал фото вздыбленных

гунгусских коряг, удручающие пейзажи непроходимых болот, крупные планы печальных пеньков.

Обладатель нижней полки, войдешь — налево, считался крупным специалистом в кибернетике. Он выложил расчудеснейшую историю о том, как с помощью электронной машины посрамили любимого всем Востоком старика прорицателя. От огорчения старец позабыл чувяки и ушел босиком. А музейная та пара обуви хранится ныне по столичной прописке в бетонном жилище вычислителя. Это была очень веселая история, и мы хохотали от души.

— Поверьте, — отирая слезы смеха, говорил кибернетик, — ныне все чудеса рождаются на острие пера. Предвидим любой результат!

При этих словах третий спутник окинул вычислителя быстрым оценивающим взглядом. Он был молчалив, третий спутник, человек с левой верхней. Строитель магистральных мостов, человек земных, фундаментальных происшествий, он мчал в фиолетовом купейном полумраке к новой стройке, могучим балкам, к проранам. Он слушал истории серьезно, будто бы с тайным неодобрением, будто бы взвешивая «за» и «против», изредка награждая собеседников скупыми взглядами.

Похоже было, что он так и просекретничает до станции назначения. Но, когда кибернетик смолк и все как по общему знаку щелкнули портсигарами, он оттолкнулся от стенки, и сильный его корпус в белой пижаме протынно засветил в межполочном пространстве.

— И я вот так думал, — тихо сказал он, — на острие да на острие. Иной фантастике хода нет. Н-да...

— Ну, ну, — подбодрил любитель таежных катастроф, но инженер и не заметил его. Он уже целиком погрузился в воспоминания того прекрасного и необъяснимого дня, о котором и поведал далее. В тот день, если верить инженеру, а не верить ему нет никаких оснований, решалась судьба его кандидатской диссертации.

В тот день по неизвестным и тайным причинам он потерял контроль над собой и будто бы повернул земной шар вокруг оси, что и решило судьбу его диссертации.

...Инженеру Петрову весна встала поперек горла. Она будила все то, что надежно спало зимой. Всякие там разные разности. Это не могло кончиться хорошим. Это мешало работе. Главному.

Вечером инженер сделал первый опасный шаг. Инженер вышел на улицу. Он с любопытством огляделся. Да, зима кончилась. Непроизвольно Петров втянул в себя большую порцию свежего воздуха — ведро крепкого настоя земли и листьев, — тут же по всему телу пошли какие-то токи, какие-то неучтенные биотоки, и инженер сразу потерял контроль над собой. Предмет его гордости, железный самоконтроль, который за целую зиму не дал и часа истратить на то, на что остальные, как известно, легко тратят половину своего времени.

Петров понял, нет, почувствовал, вегетативно, кожей, корнями волос: еще одна такая затыжка — и стройное здание формул и расчетов, возведенное в зимний период, останется без жилья. И ах, не достроенное до конца, может рассыпаться, как сыплется карточный домик, когда на мгновение отворачиваешься от него. А ведь всего то и осталось — разделаться с последним пунктом...

Последний пункт! Он никак не давался. Инженер знал — путь решения правильный, месяцы последнего высокого напряжения — и тогда отдых! Балки, прораны, гудящая сталь мостов — они взывали, они требовали разрешения своей дальнейшей судьбы. Нет, никак нельзя было терять самоконтроль. И если бы он уже не был утерян, инженер отправился бы домой и к началу бархатного сезона строчил последнее уравнение расчета.

Этого требовал долг, этого ожидали коллеги, на этом, наконец, настаивали профессора.

Но легкие его наполнились свежестью, в висках стучало, не было привычной твердости и в коленях. Он по-прежнему стоял на том же углу, совсем рядом со своим подъездом. Поток прохожих разбивался о него, как волны разбиваются о нос корабля, и смыкался позади небольшими водоворотами. Его толкали — он не замечал. Кто-то наступил ему на ногу — он машинально извинился. Шли минуты последней концентрации мысли.

Собрав волю в кулак, вырубив внешние впечатления, Петров потребовал от мозга четкой оценки ситуации. Он ждал — секунду, десять секунд, он переминался с ноги на ногу, а там, в клубнях нейронов, в соцветиях корковых извилин, потрескивали сигналы, искрили точки и запятые, клубились глаголы, подлежащие и прилагательные. Петров ждал.

«Ни сегодня, ни завтра ты не сядешь за письменный стол, — отчеканил наконец его внутренний голос, — это бесполезно. Позволь себе какую-нибудь маленькую глупость. Так нужно. Начиная немедленно: скорее все кончится...»

Теперь, когда ощущения и чувства подкрепились логической направленностью, инженер стал увереннее: он верил своему мозгу. Последняя вспышка мышления оправдывала и нелепый, несвоевременный выход на улицу — первую из маленьких глупостей, отпущенных внутренним голосом, — и те, что еще предстояло совершить.

Ему уже незачем было возвращаться домой, однако беглый пересчет первой же сотни прохожих показал, что в пальто лишь два процента из них. На плечах инженера тоже красовалось пальто — деми с рыжим воротником и пристежженной ватной подкладкой. («Отличная штука, ребята, — говорил он друзьям, — летом плащ, зимой доха!») И когда приговоренное к повешенью пальто

осталось дома, инженер резким баскетбольным ходом ввел свое тело в общий поток сограждан.

Прямая, соединяющая его подъезд с ближайшей парикмахерской, окончилась креслом, за которым стоял давно не бритый и не стриженный человек с лезвием в руках.

— Сапожник без сапог, — дружелюбно сказал Петров, и человек волшебным образом махнул лезвием.

Как только парикмахер смазал последний порез на подбородке клиента, инженер бросил взгляд в зеркало. Он с удовлетворением отметил, что опавшая щетина скрывала приятно-розовую кожу щек и литой подбородок боксера. Он почти забыл, как это выглядит в естественном виде.

Теперь молочное сияние щек гармонировало с мягким излучением рубашки, свежей, как обратная сторона чертежа, со стремительной складкой брюк, надетых, кажется, впервые, и черным блеском туфель, отражавшим безнадежные взгляды уличных сапожников.

И вместе с тем он не чувствовал себя манекеном, вышедшим прогуляться из витрин магазина. Выутюженные доспехи горожанина не сковывали его движения. Губы его то и дело раздвигались легкой улыбкой, шаг был в меру нетверд, а взгляд добр, как у трамвайного кондуктора, едущего в пустом вагоне.

Восприятия инженера обострились. Он слышал, как устрично пищат разворачивающиеся листочки тротуарных тополей, и в моторном уличном громоухании явно выделялся тонкий шелест лунного света, и ноги, казалось, ловили неощутимую кривизну земного шара. Состояние инженера обрело некую глобальность, его грудь упруго раздвигала податливую сеть меридианов, и токи широт мягко оведали плечи. И оттуда, из этих токов, из недр полярного магнетизма, прихлынула к мышцам титаническая сила, и следовало теперь ею как-то

распорядиться, на что-то истратить. Как, на что? Этого инженер еще не знал.

Бульвар, один из тех бульваров, где и в яркий полдень под густой листвой хранится фотолабораторный мрак, а по ночам пылают неоновые солнца, хоть делай моментальные фотографии, бульвар этот еще кишел играющими детьми. Один из них не принимал участия в финале коллективного детского буйства. Совсем молчаливый малыш, сосредоточенный, серьезный, подбрасывал высоко вверх небольшой булыжник и наблюдал за его падением. Возможно, он что-то обобщал, формулировал, подбирался к каким-то физическим законам, а может, и просто наслаждался зрелищем свободного падения. Но только немногие решались пройти в непосредственной близости от малыша. Разумеется, в их число попал и наш герой. Сегодня он легко относился к опасностям, сегодня он зевал бы в падающем, чадящем самолете.

И тут взгляд инженера упал на девушку, она шла прямо навстречу Петрову. Она возникла из аллей, как мгновенное порождение и этого бульвара, и всего весеннего ансамбля городских сумерек, и глобального всепроникновения самого Петрова. Девушка была самой замечательной из тех, кого он заметил сегодня, вчера и $n+1$ день в обратную сторону. Инженер замер.

Но булыжник, посланный детской рукой, уже взвился в небо, уже готов был рухнуть в свободном падении строго вниз по перпендикуляру, а пока замер в точке апогея — прямо над девушкой, внезапно возникшей из аллей.

Инженер понял: сигналить об опасности поздно. Требовалось что-то другое, немедленное, кардинальное. Напомним: мышцы инженера ломились от скопившейся в атмосфере энергии. Он мгновенно нагнулся, плотно уперся в землю ладонями и мощно нажал... Факт остается фактом. Земной шар слабо качнулся, булыжник про-

свистел мимо незнакомки, и только воздушная волна легко прошлась по ее прическе и щекам.

Засмеявшись, инженер отряхнул пыль с пиджака, подошел к девушке и тут же открыл ей все. И как подвинул Землю, и как брился в парикмахерской, и про $n+1$. Чем можно было подтвердить эту неправдоподобную историю? Ничем. Разве только пойти в парикмахерскую, показать сбритую бороду? К счастью, человеческие отношения, как и математические построения, основаны на аксиомах, принятых на веру. Она, должно быть, умела верить. А может быть, и раньше считала, что необыкновенные вещи, случившиеся с инженером, вполне возможны...

А инженер Петров и не пытался что-либо доказывать. Он вел себя как уличный репродуктор. Он говорил, напевал, и остановить его было невозможно.

А она? Нет, ничего. Ей нравилось идти рядом с человеком, который может подвинуть земной шар в ту или иную сторону.

— Скажите, — вдруг сказала она, останавливаясь и строго глядя прямо в глаза Петрову, — а можете вы еще раз качнуть? Ну как там, на бульваре.

— Могу, — твердо ответил инженер Петров.

...Несколько позднее полуночи инженер оказался у себя дома. Он включил свет, сел за стол. Сколько глупостей за один вечер! Безрассудно он вел себя, безрассудно. Особенно в тот момент, когда в один присест двинул материки и океаны так, что из-за ночного невидного горизонта уж было начал ползти тропический Южный Крест. Ах, как захотелось ему тогда, чтобы над средненькими нашими широтами навсегда укрепился экзотический этот Крест!

Горы чутко спят,
Южный Крест залез на небо, —

еще в детстве он горланил эту песню с друзьями, и образ чужого созвездия неизменно нес прилив смутного

энтузиазма. Но она-то? Нет, ей только краешком глаза хотелось взглянуть на кустистые, могучие созвездия другого неба. На один миг. Пришлось инженеру гнать небо в прежние оси координат.

Он пересчитал то, о чем принято говорить, что не в них счастье. А в них ли, в самом-то деле? Лишь бы астрономы ничего не заметили!

Перо авторучки снова побежало по бумаге, считая количество невероятностей сегодняшнего вечера. На острие пера сидят невероятности! Чего только нет на острие! Квартирант книжного замка почувствовал себя дома. Из авторучки вытекло какое-то уравнение, потом второе, а за ним уж потекли и другие.

...Забрезжило утро, и первые солнечные лучи упали в открытые окна спящих домов. Петров вздрогнул, выключил свет, подошел к окну. Провода троллейбусной линии уже расцвели драеным медным свечением, вздрагивали на легком своем весу. Должно быть, какой-нибудь троллейбус уже набрался первыми порциями тока, выполз на городские окраины. От пустынных вымытых асфальтов несло синевой, как со щек небритого брутета. Он погладил подбородок, ворс молодой пробивающейся щетинки царапнул ладонь. Инженер Петров шагнул к столу, взгляд его застыл на последнем уравнении.

На том, которое Петров искал весь год...

...Купе уже затянуло волокном хлопчатобумажного облака табачного чада. Во мраке углов разгорались и тухли каленые огни сигарет.

— Что же, защитили диссертацию? — прочищая горло, нарушил тишину вычислитель, доктор наук.

— Защитил, — скромно подтвердил строитель.

— Так, — односложно констатировал доктор.

— Все же большой науке ваш случай много не

дал, — веско начал любитель катастроф, — наука сильна повторяющимися эффектами, в них верит, на них зиждется. Вот, например, тунгусское диво...

— А что, повторялась разве тунгусская катастрофа? — с неожиданной горячностью возразил строитель.

— Нет, — смущенно сознался человек с правой верхней, — не было повторения. Оттого и бьемся над загадкой.

Последнее он произнес, как-то обмякнув, и сразу затих.

— Ну а девушка? — осторожно спросил я. — Она-то что же?

На полках заворочались.

— Да вот, письмо получил, — выдержав паузу, ответил инженер. Показалось мне, или в самом деле голос его дрогнул? — И фотографию прислала. Веселая такая, смеется. Утром, как встанем, покажу...

Он отдернул занавеску, в углу окна обнаружилась крупная полуночная звезда. Она блуждала в оконном углу, искала места. Это раскачивало вагон, раскачивало и несло, несло вперед от бетонных жилищ, от тугой струны Гринвичского меридиана, вбок от таежных эпицентров, к водоносным проранам, к новым остриям пера, к манованиям волшебной палочки.

«СЕРВИС МАКСИМУМ» — ТАКАЯ ПРОГРАММА

Он выхватил ее, можно сказать, из объятий спрутора. Еще мгновение — присоски спрута сработали бы, как всегда, намертво. Но он все-таки выхватил ее и впоследствии долго жалел об этом.

Спруторобот, конечно, ни в чем виноват не был. Глупый спрут! Его послали, врубили код, задали порядок вакуума под присосками — выполняй! Теперь вот лежит, блок к блоку, на мешковине.

Да, он отдал команду поломать спрута. Распаять и пустить на комплекты детских конструкторов. Этого требовала инструкция: «...нападение на мужчину... карается... нападение на женщину... карается...»

Теперь он нес ее на руках, подальше от догорающей схватки.

— Где я? — спросила она, когда все уже давно кончилось, а он сидел на пеньке и потягивал сигаретку «Контакт».

— Да там же, — ответил он односложно и мрачно, — у кофейни «Три кванта».

Она привстала и осмотрелась. Потом бросила взгляд и на него. Нет, он внушал только расположение. Спокойные глаза, прямой взгляд, сигарета не дрожит в пальцах.

— А где спрут? — спросила она так, будто все было в сновидении, и только.

— Разобрали спрута, — он устало махнул рукой, — на части разобрали. Не о чем беспокоиться.

Она сидела на траве как ни в чем не бывало.

— А я не беспокоюсь...

Похоже было, что она и в самом деле ни о чем не беспокоится. Будто только что не лежала без чувств на его руках.

— А о чем вам беспокоиться? — сказал он грубовато, будто она и в самом деле не лежала на его руках.

— Ну уж только не о роботах. Я же человек. — Она уже стояла на ногах и стряхивала с платья прилипшие былинки.

— А если робот послан человеком? Вот как этот спрут. — Теперь в его взгляде заплесала насмешливость, он знал, что заставит ее поволноваться.

— А его послал человек? — Она широко открыла глаза, и волосы ее, уже было собранные в пучок, снова рассыпались по плечам.

Он промолчал.

— Кто этот человек? — нетерпеливо переспросила она, и он отметил про себя, как быстро остатки страха вытеснились из души ее обычным любопытством. Тогда он почувствовал, что презирает ее и неизвестно почему испытывает к ней что-то вроде вражды.

— Ааюб Жареный Петух послал, — сказал он, чтобы кончить этот разговор, — тот самый, что прошлым летом плясал на потолке гаража. Тогда он и заприметил вас, с потолка. Он приглашал вас сплясать один кувырт, но вы еще не умели ходить вверх ногами.

— А-а... — откликнулась она с неожиданным безразличием и снова принялась за прическу.

И он понял, что не кончил этого разговора, а она его не начинала.

— А что, — сказала она, пронзая последней шпилькой воздушные глубины прически, — неплохая мысль. Несколько кувыртов на потолке. А? Вы умеете? — И она внимательно посмотрела на него, так, будто только теперь и увидела.

Он хотел ответить, что и не подавал такой мысли, что в принципе не мог подать такой мысли, но вдруг внутри его протяжно запела какая-то струна, что-то щелкнуло, и его тяжелые ботинки сами собой дробно удили по шлифованному срезу пенька.

— Контакт! — рявкнул он и, не веря себе, подмигнул ей.

— Есть контакт! — просияла она и снова бросила на него взгляд.

Он нравился ей все больше и больше. Она вдруг вспомнила, как спокойно вошел он в самую гущу свалки, когда искровые разряды валили с ног одного за другим, вспомнила, как увидела во второй раз — прямая спина, легкие плечи, трепещущие колечки дыма... А теперь эта неожиданная, отработанная чечетка.

— Вы не подумайте, я уже научилась, — неуверенно заявила она.

А он только улыбнулся. И, уже ни о чем не говоря, они отправились туда, где в вечерней синеве мигали едва видные из-за деревьев огоньки, где, наверное, уже кончили вошить паркетные потолки и кабриолеты один за другим как вкопанные замирали у ворот.

* * *

— Вся надежда на этот образец, — сказал Конструктор.

— А что, он лучше других? — возразила жена Конструктора. — «Честняга-2», тот тоже был лучше других. До поры, до времени.

— Ах, ты ничего не понимаешь, — слегка закипая, ответил Конструктор. — «Честняга» оказался слишком рефлекторным. Ему везде чудилась неправда. И сразу кулаки в ход.

— Вот, вот, — перебила жена, — а что придумает этот? (Через каждые тридцать секунд пресс выбрасывал отглаженную штуку белья, она складывала его в стопку. Разговор как нельзя кстати скрашивал монотонную работу.)

— «Честняга» вышел из биокамеры идеальным парнем, — стараясь быть невозмутимым, продолжил Кон-

структор, — по крайней мере, идеально честным. Все ставилось именно на это главное качество. Мы полагали, что гипертрофированная честность уберет его от крайних поступков. Мы полагали, что, впусив его в человеческое общество...

— Вы полагали, — подлила масла в огонь жена (пресс выбросил шипящую, в клубах пара сорочку, и тридцать секунд было у нее в резерве), — а вот не могли предположить, что он сломает челюсть этому чемпиону, как его... У которого челюсть на вес золота.

— Но предыдущие модели прекрасно ведь ужились, — убеждал Конструктор. — «Работяга», «Стоматолог», «Советчик» — они и сейчас нарасхват. Конечно, им далеко до человека, их комплексы...

— Да в том-то и прелесть! — не выдержала жена. — Сразу видишь, с кем имеешь дело. А ведь «Честняга» — с ним говорили на «вы». Режиссеры приглашали на съемки. А ведь и этого ты создал не монстром, верно?

— Да, он ничего себе, — смущенно пробормотал Конструктор, вспоминая, что и правда «Честняге» навязывали какие-то ангажементы. — Но здесь все будет иначе. Ему мы придали возможности кибернетических машин. Считает как бог. Каждый поступок рассчитывается наперед. На пять, десять и даже двадцать минут. Ситуационное предвидение! Понимаешь, математическая шишка всего на пять миллиметров выше нормы, но мы туда столько закачали...

— Что же, видна шишка? — Жена наконец заинтересовалась разговором.

— Нет, не видна! — радостно, будто в этом и было самое главное, воскликнул Конструктор. — Копна волос у него, ух! А в шахматах силен. Дебют, миттельшпиль. Шах и мат! С эндшпилем незнаком, сдаются посреди партии.

— Ну вот, — омрачилась жена Конструктора, —

«Честняга» не поладил с боксером, теперь жди неприятностей с гроссмейстером.

— Да в том-то и дело! — вскричал Конструктор, довольный, что разбудил наконец подлинный интерес к делу. — Гарантировано! Заблокировали парня по всем каналам. Цвет и музыка индексируют состояние.

Жена Конструктора, пораженная горячностью мужа, стояла, позабыв о прессе, и автомат выбрасывал горячие порции белья.

— Понимаешь, — Конструктор перешел на темпераментный полусшепот, — это наш секрет. Он музыкален. Что не так — сразу музыка. Барабан, флейта, гобой — какофония! Едва слышно, но любой лаборант уловит. Кроме того, он меняется в цвете.

— Краснеет, что ли? — опередила жена. Она, не мигая, смотрела на мужа, окончательно позабыв обо всем на свете.

— Да, краснеет, — утвердительно кивнул Конструктор, — краснеет — значит, соврал. Дурно стало — зеленеет. Ярость закипает в груди — заливают белым.

— Прямо оперный герой, — засмеялась жена. — Да ведь кто не краснеет?

— Позволь, позволь, — запротестовал Конструктор, — любому из нас эмоции подвластны. У него же все на виду. К тому же он непорочен, как дельфин.

— Ах, дельфины, дельфины! — Жена опять была готова расхохотаться.

— А что, а что? — оправдывался Конструктор. — Помнишь, я отлавливал дельфина. Психика нового образца смоделирована по аналогу с дельфиньей.

— Кажется, тебя вызывают, — перебила жена.

Они замерли, прислушиваясь. Из соседней комнаты полз, стелился по полу монотонный шепот прибора: «...вызывают к аппарату Конструктора... вызывают к аппарату...»

— Слушаю вас, — бодро отозвался Конструктор, под-

ходя к аппарату. — Что? Пляшет на потолке? В меру розовый? С девушкой пляшет? Молодчина! Не поняли? Говорю, мо-лод-чи-на! А? Нет, нет, партия шахмат не повредит...

— Все идет как по маслу, — потирая руки, сказал Конструктор жене. — Спас девушку от спрута, танцует с ней в «Трех квантах», цвет лица идеальный.

— Слушай, — жену будто осенило, — познакомь-ка меня с ним. Несколько лишних кувыртот не повредят ведь твоему эксперименту.

* * *

— Добрый вечер, дружище! — Кто-то протолкался к ним через весь зал. — Партию шахмат! Сегодня дебют «Броуновское движение».

— «Броуновское» описывается уравнениями газовой динамики. — Он улыбнулся подошедшему, как гроссмейстер улыбается разряднику, интеллигентно, чуть винясь за свое гроссмейстерство. — Смотрите, позиция распределена, казалось бы, хаотично. Однако давление равномерно во всех линиях и диагоналях. Но вот двадцать шестой ход... — Он раскрыл блокнот и мгновенно начертил ситуацию хода. — Слон, зеркально отражаясь от пешек, набирает критический запас скорости. Теперь рокировка бессмысленна. Понимаете меня?

— Тогда, может быть, квадрупольную разовьем? Где роторный момент ферзя... — начал было подошедший, не отрывая взгляда от записной книжки.

— Квадрупольную играю с отдачей ферзя. Так что его вращательный момент сразу сводится к нулю, — он на секунду замаялся, как бы в смущении, — но понимаете, дело даже не в нуле. Сегодня мне вообще не хочется играть. — Он нажал на слово «вообще».

И он решительно пожал руку ошеломленного любии

теля, бесповоротно прощаясь с шахматными коллизиями вечера. Они вышли на улицу. Теплая мгла осела вокруг блистающего стеклами домика с вошенными потолками. Из невидимых в темноте кабриолетов смутно ворчали и таявали дремлющие псы. Влажные ветерки тревожили их обоняние, и тогда то один, то другой зверь пощечины взвизгивал и сразу замирал. Вверху, на самых купольных высотах, вздрагивали крупные мохнатые звезды. Там, среди мигающих звезд, неслись метеориты, расчерчивая вязкую, как болото, тьму на зыбкие квадраты и параллелограммы.

— Знаешь, — сказала она, — мне кажется, что я знаю тебя очень, очень давно...

— А мне — что не знаю тебя совсем, — он посомневался, — но тоже... очень давно.

— А вот бывает у тебя так? — таинственно спросила она и оглянулась кругом, точно в этой мгле можно было что-нибудь разобрать. — Бывает так, будто все это уже было? Все в точности.

— Нет, не бывает, — он вздохнул. — Так уж я устроен. Никакого прошлого. Начисто.

— А сны, тебе снятся сны?

— Ага, иногда я вижу очень интересную вещь.

Они незаметно подошли к широкому, как театральный занавес, дереву. Где-то вверху среди листьев вполсилы работали струи воздуха, и невидимая мощная крона то набиралась воздуха, то отдавала его, вздыхая.

— Мне чудится, будто кругом безграничная водная гладь. И я мчусь, режу водный простор, вылетаю в воздух, и в брызгах вспыхивает радуга. И рядом мчатся ловкие, веретенообразные существа. А впереди розовые острова. И мы мчимся, мчимся, обгоняя друг друга...

— Это дельфины, дельфины! — закричала она в восторге. — Я была у океана, я каталась на дельфине. В детстве. А ты катался в детстве на дельфине?

— Ах, мое детство, — засмеялся он, — знала бы ты

о нем. Мои няньки — почтеннейшие на планете профессора.

— Сложное детство? — Ей захотелось сочувствовать, разделить тайные тяготы этого немного странного человека. — Муштра, режим. Тебя готовили в великие шахматисты.

— Да нет, — отозвался он из темноты, — никакой муштры. Вообще никакого детства.

— Говорят, раньше, в давние времена, у людей не было настоящего детства. Такого, как сейчас. — Она подошла к дереву и тоже прижалась плечом к мягкому, как надувная лодка, стволу. Теперь они стояли лицом друг к другу. — Я видела, как было раньше. В будке глубинной памяти. Часа два я видела то, что было вокруг моей какой-то прабабки. Ее глазами. Только электроды мешали. Холодные, прямо на лоб кладут.

— А роботов туда пускают, в эту будку? — осторожно спросил он.

— Роботов? Это мысль! Представляешь, на экране мир глазами автоматического снегоочистителя. Ой-ой-ой. — Она затряслась от беззвучного смеха, и по упругой коре пошли мягкие толчки. — А знаешь, — смех ее внезапно оборвался, а в голосе опять возникли таинственные, родственные нотки, — пошли в будку. Хочу увидеть твоих стариков. Например, как твой дед познакомился с твоей бабкой. А?

— Нет, нет, — спешно отозвался он, — понимаешь... Я не в ладах с родителями, бабками и так далее.

— И так до самого Адама? — коварным голосом спросила она. — Ну и что, не в ладах. Ты же ничего не боишься. Сейчас только и говорят, как ты подошел к спруту.

— Да нет, это не смелость. Очень точный расчет. За несколько мгновений я рассчитал стычку в деталях. Никакого риска.

— А рисковать ты умеешь?

(Он понял, что ему придется чем-то рисковать, и немедленно.)

— Ну! Ведь каждый имеет право на риск.

Она положила руку на его плечо. И он опять услышал, как внутри его что-то щелкнуло и струнно запело.

— Давай вот прямо сейчас пойдем на стартовую площадь, через час будем у океана.

Она не снимала руки с его плеча. Он слышал уже не одну, а несколько струн и будто бы саксофон или гобой вздохнул несколько раз где-то под ребрами.

— Музыка, — обрадовалась она, — я слышу музыку. Откуда это?

— Что риск? Событие! Каждый должен иметь право на событие, — сказал он, и к гобою прибавилась труба, и невидимый дирижер взмахнул палочками, сплетая звуки.

— Мы возьмем там большую лодку, возьмем паруса, а ветер там всегда есть. — Она обсуждала новую идею с подлинным энтузиазмом. — Паруса будут ставить роботы. Прихватим с собой парочку. Лучше всего типа «Сервис Минимум». — Она уже говорила деловыми интонациями хозяйки семейства, въезжающего в необжитую квартиру. («Кофеварки — на кухню! Холодильник — в прихожую! Стиральную машину — в чулан. Роботов тоже в чулан!»)

— «Сервис Минимум?» — медленно произнес он.

Она увидела, как заплесал огонек его сигареты. (Дирижер споткнулся, и трубы, скрипки, барабаны на последней ноте набежали друг на друга.)

— Да, «Сервис». А не пригодятся, оставим на берегу. Сдадим в хранение.

— Я не могу лететь, — сказал он хрипло. — Сейчас я вспомнил, кто я такой...

— А кто ты такой? — запинаясь, медленно спросила она.



— Я последняя надежда лаборатории. Без меня не обойдутся.

— Но мы же вернемся. Их надежды оправдаются, — стараясь быть уверенной, сказала она. — А потом, как так, незаменимый? Незаменимых людей нет.

— Людей нет, — он глотнул воздух, — но я незаменим. Я робот. По программе «Сервис Максимум»...

* * *

— Он улетел, — сказал Конструктор, падая в кресло как есть, в комбинезоне, — стартовал на иные орбиты. Накал оказался выше его сил.

— Я же говорила... — начала было жена Конструктора.

— Ты говорила, что он повздорит с гроссмейстером, — жестко отрубил Конструктор.

— Но я имела в виду, что неприятности будут у тебя, — теряясь, пролепетала жена.

— Он пролетел над самой лабораторией, — не замечая ее слов, продолжал Конструктор. — «Почему он передает музыку?» — спросил меня нач группы запчастей. «А ты уверен, что это только музыка?» — сказал я ему. Светоиндикаторы состояния пилота вели передачу его настроения в световом диапазоне волн. Это было потрясающе! Светосимфония загипнотизировала нас.

— А остановить не пытались?

— Я послал лаборантов на место старта. Опоздали... Только записку нашли. Вырезал на камне газовым резаком.

— Объяснение? — жена Конструктора замерла в своем кресле. Все-таки в экспериментах ее мужа было что-то по-настоящему интригующее.

— Отчасти, пожалуй, и объяснение. — Конструктор повертел в воздухе пальцами, будто ввернул в пространство невидимый болт. — А с другой стороны, на-

каз. Во всяком случае, в следующих конструкциях мы учтем эту мысль.

— Поправка в формулах биомоделирования? — понимающе вставила жена.

— Каждый имеет право на событие, вот что написано там. — Конструктор встал с кресла. — В его бегстве виновата эта девушка. Они вроде очень уж понравились друг другу. А потом он возьми да и шарахни всю правду! Представляешь, каково ему сейчас.

— Бедняжка, — сказала жена Конструктора, думая о чем-то своем. — Я понимаю ее. Все бы она сейчас отдала, чтобы тоже родиться у вас. Под крышей лаборатории...

НАД БРИСТАНЬЮ, НАД БРИСТАНЬЮ ГОРЯТ МЕТЕОРИТЫ!

Это уже стало правилом — сваливается к нам на землю некое космическое тело, и тут же крики, шум, ура. Вылеги на место происшествия специальных корреспондентов, обостренные дискуссии, борьба мнений, как правило, переходящая на личности. Иззябшийся за годы беспричинных странствий по неуютной мгле кусок с хрипами, визгами, громовыми раскатами врывается в теплое тело матушки-земли и наконец-то находит покой, а мы — мы теряем его. Еще бы, космическая катастрофа! А может быть, и само крушение марсианского корабля! Нужно иметь совсем зачерствелую душу, чтобы не дрогнуть перед таким обстоятельством. К счастью, таких перегоревших душ очень мало, поэтому эмоциональный подъем, сопровождающий павшие тела, перерастает границы района самого падения, начинает гулять в областном масштабе, а то и сразу становится достоянием самых широких слоев.

Тонизирующее действие исключительного события, особенно такого, как громовое приземление небесного скитальца, трудно переоценить. Исключительное захватывает, и на фоне его мелкие неурядицы, омрачающие личную жизнь, растворяются как легкий дымок, исчезают, будто накрытые шалкой-невидимкой.

Рядовые толкователи чудесного начинают чувствовать себя законными свидетелями, почти соучастниками тайн мироздания, которые вот-вот раскроются, и тогда... Полковники метеорологической службы получают новую пищу для диссертаций, расширяющих путь-дорожку к генеральским высотам науки. Реалисты же, давно и бесспоротно отрекшиеся от научных исканий в пользу исканий вечерних собутыльников, гипнотизируют продащиц бакалеи хитрыми словами:

— Мы тут планы перевыполняем. А марсиане — вон они, весточки шлют.

К сожалению, не каждый случай прорыва атмосферы сказывается на тщательно поддерживаемом нами тоне. Не каждый раз дело оборачивается катастрофой с таежными вывалами, контуженными наблюдателями, сейсмической волной. Чаще всего, фукнет по небу светлячок, начадит малую толику, и нет его, изжарился на перегрузках. Ищи ветра в поле. И хотя многие энтузиасты, коротающие вечера возле самодельных подзорных труб-телескопов, воспринимают такое поведение слабых метеоритов как личную неудачу, ничего не поделаешь. Пожалуй, в этом даже есть своя позитивная сторона: ведь если бы каждый камень неба, сорвавшийся с теоретических орбит, шмякал о земную грудь, как снаряд по броне, то вскорости, что называется, осталась бы от бублика одна дырка. Ведь не секрет — с некоторыми планетами, обещавшими со временем стать обитаемыми, но зародившимися в менее удачливых местах, так и произошло...

Тело, прорезавшее в одну из летних ночей воздушные слои над городом Бристань и ушедшее в неизвестном направлении куда-то в леса, принадлежало именно ко второму типу. В конечном итоге оно не вызвало ни особых радостей, ни потрясений. Специалисты, правда, поспорили между собой: одни утверждали, будто тело ушло на северо-восток, другие демонстрировали карты с маршрутом на северо-запад. Но спор получился вялым, без острых углов. Принципиального значения ни та, ни другая точка зрения не имели. Звезда прошла над головами горожан совсем бесшумно, отсутствовали и явления взрывного характера. О чём тут говорить? Удивляло одно: при всей своей незначительности звездочке удалось пройти над землей на чрезвычайно низких высотах, а ведь только самым мощным представителям мира метеоритов доступны прорывы в слои атмо-

сферы. Это, конечно, удивляло, да много ли толку от удивления?

И однако, разговоры пошли. Дед Митрий Захарыч Пряников, лесничивший в бристанских заповедниках, и пионер Федя Угомонкин, отбившийся в лесах от отряда и в силу этой причины оказавшийся ценным наблюдателем конца метеорологического явления, принесли показания о посадке тела. О посадке незаметной, безударной, протекавшей в условиях тишины, о которой какой-нибудь обреченный диверсант-парашютист может только мечтать.

Митрий Захарыч клялся Георгиевскими крестами, Угомонкин — пионерским галстуком. Оба указывали на ложбинку, усеянную старыми валунами, — излюбленное местечко и цель многих турпоходов.

Когда-то во времена, из-за своей отдаленности потерявшие для нас всякий смысл, в этом районе великие ледники дали течь и убрались на север, валуны же остались, ибо у ледников уже не осталось сил тащить их обратно. Увековечив древнее событие, обветренные глыбы долго лежали в покое, пока нахлынувшие волны туристов не принялись увековечивать свое «я»: киркой, мотыгой, а то и простым перочинным ножиком. Когда плотность надписей достигала того предела, после которого не оставалось места даже для любителей филигранной работы стамеской, ножом и скальпелем, старые надписи безжалостно иссекались, и туристы снова приобретали ясную, прямую цель для своих бросков в чащи.

Сюда-то и пришел отряд специалистов, чтобы окончательно разобраться в научной правде небесного явления. Старик Захарыч требовал обстучать валуны обушком и по звучанию выявить новоявленную глыбу. Пионер же, постоянный слушатель «Научной зорьки», утверждал, что только метод меченых атомов быстро решит вопрос. Но меченых атомов в наспех собранных рюкза-

ках специалистов не оказалось, а мерзостный звук каменной отдавал на редкость стабильными частотами, и вскоре дедовский обушок стал не более, чем предметом шуток молодой и жизнерадостной части экспедиции.

Осмотрев валуны, комиссия пришла к разумному выводу, что только те из них заслуживают полного исследования, чья поверхность не покрыта татуировкой — продуктом умелых трудов любителей природы. Ведь небесные камни еще не попали в сферу разрушительных возможностей друзей лона природы.

Всего несколько глыб радовали глаз незапятнанной поверхностью. Но которая из них истинная, небесная, а какие свежеочищенные? Посланные по городам гонцы вернулись с пустыми руками: опасаясь справедливого нарекания со стороны первичных обладателей надписей, расчищатели камней будто в рот воды набрали. Оставалось два выхода: либо вызвать тягачи и транспортировать валуны в стороны ближайших научных центров — задача технически сложная и громоздкая, перед которой в свое время спасовали сами ледники, второй — распиливать на месте и тут же изучать.

— Пилить, пилить! — этими возгласами наиболее горячие головы подбадривали тех, кому пилить не хотелось.

— Пилить дело простое. Науки только в этом не видно, — сопротивлялись поклонники открытий на острие пера. Однако, чтобы не прослыть белоручками, они прекратили сопротивление, и тогда мелодичные зубцы пил заиграли по старым спинам валунов, выдавших на своем веку разное, но не такое.

Утомившись, участники похода сходились подкрепиться, попить чайку, искусно настоящего бывалым лесником на смородинном листе. Тревожные лесные ветерки несли из чащи неясные похрусты, отдаленные птичьи голоса. Медленные струи воздуха обтекали стволы деревьев, все гуще пропитываясь запахами, и шли в

ложбинку на огонек, легко играя пламенем костра. Здесь, в лесной ложбинке, потоки лесных звуков, смоляные дуновения и густой дух смородинного веника, палящегося в ведре над костром, мешались в одно и, заполняя легкие, втекали в артерии, шли по капиллярам, растворялись в крови, отдаваясь сильными ударами сердца.

Участники экспедиции подолгу распивали чай, не собираясь сопротивляться гипнозу цветущего лета. Дачная, почти курортная ситуация располагала к веселью, шуткам и затяжным неслужебным разговорам. Только двое из всей компании естествоиспытателей никак не поддавались колдовству летних вечеров и продолжали пилить начатое с упорством, не оставляющим сомнений, что для такого народа нет крепостей, которые нельзя было бы взять, и что скоро тайны природы раскроются до последней. Раздирающий уши звук пилы выводил разговоры из приятного русла, путал мысли.

— Эй, Петров, Быков! Пора сливаться с природой! — кричали им в темноту, и тогда темнота отвечала таким металлическим визжанием, от которого по спине бежали мурашки, а от слияния с природой не оставалось ничего.

— Работать надо! — гулко неслось к костру.

— Эй, Петров, Быков! — кричали им настойчивее, а потом несколько человек решительно поднимались, уходили в темноту, чтобы вернуться из нее с отобранной пилой. Петров и Быков тоже выходили на свет, шурились; грудь их еще тяжело вздымалась, а потом приходила в норму, и теперь ничто не мешало засыпающим лесам шептать о каких-то неведомых, тайных грезях.

— Вот, значит, — начинал кто-нибудь, опростав первую кружку чая, — прилетает марсианин на Землю и попадает сразу на карнавал. Видит — девушка. И в бок ее пальцем — раз. А ему она. «Уйдите, я дружинника позову», — это она ему. А он снова —

жжик, и живот показывает, а на животе глаз. Марсианин, значит...

Лесничий Митрий Пряников слушал эти истории весело, с доверием. Ученые импонировали старику серьезностью, возвышенностью тем разговоров. Кроме того, экспедиция грязи не разводила, слушала старика. Потому Митрий Захарыч охотно прощал марсианам и ношение глаза на животе, и другой непорядок, пока что торжествовавший — по рассказам новых знакомых — в небесных пределах.

Дед уже отвык от солидности в разговоре, туристы не баловали старика солидностью. Туристы приходили, мусорили и уходили. Правда, с песнями, с гитарами, плясками на валунах, да что пользы — мусор-то приходилось убирать старику. «Изгадили камушки, совсем изгадили», — печалился дед после таких визитов и гнул спину, гремя Георгиевскими крестами. Однако во время самих набегов он не думал об этом, а находился как бы в чадy, наблюдая новую и диковинную жизнь потомков.

Со стариком пришлый народ обходился запросто, будто с валуном, только надписей не вырезали. Любой сопляк мог хлопнуть Пряникова по плечу с прибауткой «Что, дед, рюмочку сглотнешь? А то смотри — песок из тебя сыплется, весь высыпается. Ангелы-хранители не угостят». Дед, конечно, серчал, но от рюмки-другой отказаться не мог, так и пристрастился к спиртному. Оттого и ждал холостую публику, крестился, отплевывался, но ждал.

Экспедиция, напротив, вела себя трезво, знай потягивала себе чаек, угар на сей раз обошел Митрия Захарыча стороной. Былая нерушимая ясность забрезжила в груди старика, и речь его снова обрела почти законодательную торжественность, суровость, соответствующую званию лесника и георгиевского кавалера.

— Конечно, господь в царстве своем порядка не до-

стиг. Но вижу — народ крепкий есть. Порядка добьется, — уверенно вставлял Пряников в паузах астрономического спора. Возражений не было, это нравилось леснику, и в душе его пела протяжная песнь, не замутненная чечеточными ритмами текущего городского момента.

В природе все выдается квантами: свет, энергия, пространство, а также нечто (физически зависящее от перечисленных понятий, хотя не очень хорошо известно — как), именуемое радостью. Как только радость становится обычным состоянием, нормой быта, она перестает быть радостью. Разве может радоваться именинник новому, пусть даже прекрасно сшитому костюму, если все гости пришли к нему в точно таких же костюмах? Может, пока не явились гости. А дальше?

Организм требует чего-то нового, головокружительного. Старый квант радости исчерпывает себя. Еще хуже, если человек получает порцию радости, беспечно усваивает эту порцию, а потом узнает, что все было основано на ошибке, на недоразумении. Тогда приходит душевная опустошенность, литое чугунное чувство собственной никчемности — не сразу расплавишь его.

Вот так и душевная гармония Митрия Захарыча не устояла перед событиями дня. Научная правда подмяла гармонию под себя.

Никаких космических вкраплений, полное отсутствие следов пребывания в иных мирах — к таким не подлежащим сомнению выводам пришла научная комиссия, просуммировав все полученные данные.

— Видать, дед, померещилось тебе приземление. Мнимое все это твое показание, — сухо сказал начальник работ, хотя и не хотелось начальнику говорить такие тяжелые прощальные слова. Несмотря на нулевые результаты трудов, затеянных вследствие показаний Пряникова, экспедиция полюбила лесника, свыклась с его пахучими чаями. Было что-то незыблемое, обнаде-

живающее в том, как скручивал он свои вечерние самокрутки, правя у кипящего ведра.

— Н-да, Митрий Захарыч, — протянул начальник и добавил уже с нотками сочувствия: — Понимаете, экспедиция не может верить одним только эмоциям наблюдателей. Нужны факты. А может, и в самом деле показалось?

— Врать не стану. Второй очевидец есть, — твердо, будто не замечая ноток сочувствия, ответил лесник. Стоять на своем — последнее, что оставалось Захарычу, хотя слова начальника уже лежали, будто гиря, на дне желудка.

Второй очевидец, малолетний Федор Угомонкин, был далек от печалей заповедного стана. Его почти сразу отправили обратно в Бристань, так как он быстро надоел всем приставаниями с методом меченых атомов. В городе он широко наслаждался внезапно пришедшей к нему известностью и охотно делился с притихшими сверстниками своими дальнейшими планами — полетами на Марс, Юпитер и далее. Учителя с уважением поглядывали на Угомонкина — самим-то им не пришлось пережить такого — и предсказывали ему большое научное будущее.

Угомонкин, таким образом, тоже потерял всякий интерес в глазах руководства исследованием, и, апеллируя к его имени, Пряников только усугублял свое положение. Начальник немного помолчал и пошел прочь от старика.

— Ей-богу, не виноват! Родимые... — упавшим голосом крикнул старик вслед, но начальник не обернулся. Вся группа уже собралась у рюкзаков, ожидая команду к уходу.

— Завхоз, — сказал начальник напоследок, — выделил леснику излишки консервов, шоколад из НЗ, махорки побольше.

Все молчали.

— А это от меня лично. — И начальник вынул из уха транзистор, надежно вибрирующий микродинамиком языки и напевы континентов в любое время суток.

Итоги экспедиции действовали на общественность Бристани удручающе. Феномена не получилось. В районной прессе проскочило всего несколько материалов, хотя и снабженных броскими названиями, однако так и не вдохнувших жизнь в проблему, уже пережившую свой апогей. «КУДА ДЕВАЛСЯ ПРИШЕЛЕЦ?», «СГУСТОК ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, БЛУЖДАЮЩИЙ В БОЛЬШОМ КОСМОСЕ — НАД БРИСТАНЬЮ...», «ТОЛЬКО ТАЙНА ЖИЗНИ ТЕРМИТОВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОС...» — искусственная напряженность, вызванная крупными заголовками этих, пожалуй, малоубедительных дилетантов, напряженность эта улеглась сразу после областной подвальной статьи, набранной бесхитростными шрифтами: «Как и почему он рассосался в атмосфере».

— Да, рассосался метеорит. Факт! Этот случай вполне оправдан теорией, он же подправляет ее. А вы думаете, что движет теорию? Новые факты, — разъясняли эрудиты знатокам, а знатоки всем остальным.

На этом дискуссия замкнулась, не выйдя на просторы массового обсуждения, а следовательно, не повлияв и на наш жизненный тонус.

Вечером того дня, когда экспедиция ушла из ложбинки, Митрий Захарыч не выдержал и отправился к валунам. Вышел будто просто так, лес осмотреть, а ноги сами несли и несли старика, и чудилось ему, будто опять полна ложбинка веселыми голосами научных сотрудников, топоры стучат, пилы играют.

«А вдруг да повернули? Может, не допилили чего?» — от этой мысли сердце старика по-молодому заколотилось. Живо представился ему костер на обжитом плоском валуне, круг вечеряющих мечтателей, возвышен-

ный их разговор, он сам среди них — на равных правах...

«Вдруг да повернули!» — И тут он вышел к ложбинке, увы, только ветер шелестел по шершавым камням, да травы серебрились в слюдяном свете луны. А вот и плоский, как чемодан, валун, весь посыпанный пеплом, еще вчера яркое пламя заливало багровыми бликами покатые каменные плечи, а теперь только бледный пепел прикрывает его от прохлады и сырости...

Вдруг весь валун по-живому затрепетал, точно грудью вздохнул, старик перекрестился и прыгнул за дерево. Валун без треска разломался на две части, и половинки сами собой мягко разошлись в стороны.

Прильнув к стволу и вполсилы дыша, старик наблюдал, как из щели показалась голова, потом плечи и руки, а затем выпрыгнул и сам человек. Незнакомец разом оглядел ложбину, передернув плечами — видно, замерз, отсиживаясь в камне-то, — и, опять обернувшись по сторонам, ударил ногами чечетку. Горло его издало сдавленный булькающий звук — смеялся он, что ли? Потом движения человека, серебрившегося, как и травы, в лунном отсвете, приобрели координированность, он просунул плечи в щель, вынул оттуда чемоданчик, выпрямился и на секунду застыл, соображая, что делать дальше. Вот он спрыгнул на землю, хлопнул по валуну ладонью, куда-то нажал, и тогда валун бесшумно замкнулся. Незнакомец решительно вошел в кусты и растворился во мраке.

— Лешего довелось узреть! В камне живет, бездомный, — испуганно соображал старик, по-прежнему не решаясь выйти из-за ствола.

«Леший на участке. Ох-ха, — стонало в груди старика, — вот тебе и научность, механика египетская. А что как...»

Новая догадка прихлынула к старику. Человек по-

научному приземлился — и молчок, потому что марсианин. Глаз на животе. Вот те раз!

По долгу службы лесник, конечно, обязан был доложить о случившемся руководству. Изложить пусть даже не личную точку зрения, а просто голый факт. Дескать, в ночь с такого-то на такое-то сегодня в лесном квадрате эдаком-то валун без всякого для себя разрушения разошелся пополам и вновь сомкнулся, выпустив из себя неизвестную личность, станцевавшую на валуне и исчезнувшую в дебрях. Доложил Пряников. И все.

Однако пережитый срам из-за наблюдения посадки камня заставил дисциплинированного в прошлом старика пересмотреть отношения к службе. Служба службой, а в дураках перед людьми ходить эка охота.

Пряников прочно усвоил, что наблюдать своими глазами — одно, а открыть глаза людям — другое, дело мозговитое, требующее большой обходительности, которой теперь-то он в себе и не видел. Что же, во второй раз за обушок браться, распиловку предлагать? Снова срамиться перед честным коллективом?! Уж лучше полное незнание, таинство до гробовой купели! Сказал — и как сургуч на уста положил...

А марсианин уходил по чащам да перелескам все дальше от места посадки. Шел быстро, таежник сказал бы — таежник идет, увидел бы стайер, сказал бы — стайер со вторым дыханием дистанцию за глотку берет. Ну а марсианин еще какой-то по дороге повстречайся, крикнул бы: «Уауэй моо, битто чук!», то есть «Что, брат, гуляем! Кислороду набираемся!»

Кислород действительно вполне устраивал марсианина. «Ничего у них кислород, качественный», — думал марсианин, которому надоело сидеть в камне на искусственном воздушном пайке. Конечно, в ночном мраке леса ни зоркий таежник, ни стайер, привыкший все различать даже с быстрого бега, не заметил бы ходака.

Мгла тоже устраивала марсианина: она исключала свидетелей. А что свидетели опасны в его положении, он уже понял: совсем недавно они только по недомыслию не принялись пилить его галактический корабль.

Сам марсианин от темноты не страдал. Включив кожное ночное зрение, он разбирался среди всех этих пеньков, рытвин и стволов если и не идеально, то, по крайней мере, не хуже обыкновенного близорукого, потерявшего очки. Он страдал от другого — какое-то легкое стрекотание, легкий звон, какой бывает, если задеть конец острия скальпеля, то и дело этот тревожный звук возникал возле уха или носа, и тотчас следовало тягостное жжение. «Кислота, что ли, с неба капает, может, электрические шарики в воздухе плавают?» — спрашивал он себя при приближении зудящего звука, и тут же его кожа ощущала молниеносный тонкий ожог, от которого поврежденный участок кожи переставал видеть и окружающий лес как бы заливало сумерками. Тогда он присаживался на пенек отдохнуть, поразмыслить о событиях последних дней.

«А на каком языке я сейчас думаю?» — спохватился он. Действительно, на каком языке размышлял марсианин?

После того как немногочисленные двигатели марсианского корабля, выбрасывая бесцветные струи гравитационных зарядов, подогнали аппарат к Земле, межпланетчик сбавил скорость и плавно припечатался днищем среди валунов заповедника. Пока марсианин приходил в себя — все-таки маневр стоил ему нервов и энергии, — корабль безо всяких принуждений принял вид окружающих предметов. Короче, стал одним из валунов, изобилующих в округности. Совершенно случайно одна его сторона ориентировалась на очищенные камни, другая — на объекты, испещренные надписями разного калибра и содержания. Поэтому и корабельная обшивка, с одной стороны, не имела ничего общего с гра-

мотой, с другой же, приобрела читательский интерес. На корме корабля теперь красовались и «Петр Столбняков был здесь в разгар празднующей природы» и «Вера, пойми же... Василий», «Накопил и машину купил» — по-видимому, след посещения работника сберегательных трудовых касс, а также одна небольшая напевная зарифмовка, какую детям до шестнадцати да и сверх этого лет читать не рекомендуется.

Марсианские конструкторы настояли именно на такой схеме приземления: подлет к ночной полосе планеты, торможение, посадка плюс метаморфоза под естественный ландшафт. По мнению конструкторов, этот комплекс обеспечивал полную сохранность тайны, а тайна, когда речь идет о выходе на дикие, а порой и чудовищные планеты, — лучшая гарантия безопасности.

— Мы не знаем, — говорили они, — кого пилоты встретят в пути. Врагов, друзей, неразборчивых в пище людоедов или задумчивых гуманистов? Метаморфоза корабля поможет избежать неприятностей разоблачения, сохранить в целости секрет корабельных устройств.

Пожалуй, по-своему эти конструкторы были и правы. Впрочем, они только подражали природе, настаивая на своем, природе, в которой принципы мимикрии давно и широко внедрялись в целях защиты от так называемого «всякого случая», частенько несущего с собой позор, увечье, а то и прямую смерть.

Подражая, конструкторы, однако, избежали слепого копирования вековых образцов защиты, а внесли кое-что и от себя. Так, например, корабль обладал способностью внезапно утяжеляться в несколько раз и на глазах изумленной публики проваливаться в недра планетных слоев. Испытания показали, что корабль шел вниз легко, как топор, брошенный в водоем. По прошествии опасного момента пилот нажимал кнопку многократного уменьшателя тяжести, и тогда корабль пулей вылетал наверх. Это рацпредложение спасло нескольких пу-

тешественников, но вызвало толки среди населения соответствующих планет. Конечно, после проведения подобного приема пилот должен был как можно быстрее уводить корабль в космос, ибо версия «рассосался в атмосфере» становилась крайне непопулярной, а место провала превращалось в одну из самых людных и шумных улиц вселенной. Поэтому нажимать на кнопку утяжеления разрешалось в самых крайних случаях.

Другая техническая диковинка — акустика корабельной обшивки — тоже была результатом предусмотрительности изобретателей. Звуки, зародившиеся во внешнем пространстве, свободно проникали в кабину, будто никакой обшивки и не было. Наоборот, любые внутренние звучания корабля аккуратно запирались стенками, так что при любых обстоятельствах пилот мог развлекаться музыкой громкого звучания или греметь гаечными ключами.

Экспедиция, облюбовавшая плоскую крышу корабля-валуна под очаг и трапезные сборы, язык за зубами не держала, диапазон интересов изыскателей узостью не грешил, и любопытнейшая информация лилась потоком в уши затаившегося марсианина.

Сначала, разумеется, он не понимал из этих разговоров ничего. Но потом эластические органические пластинки (искусно вшитые в борта пиджака) вдосталь наглотались новых слов, а длинные цепи молекул перетряхнули их и пустили в электроды в виде расшифрованных импульсов, пригодных для усвоения мозгом. Импульсы обработали нужные участки мозга путешественника, вложив в них «знание новых слов», и малопомалу марсианин начал постигать смысл откровенных, несбивчивых разговоров метеоритчиков.

Наиболее ценные данные марсианин скрупулезно отдикивовывал записывающему устройству — сбор данных о жизни Земли во всем ее многообразии был, собственно, одной из главных целей командировки. Вниматель-

но прослушивались и беседы на космические темы: что они, земляне, успели узнать о космосе?

Хотя он и понимал, что в этом плане слишком придирается к землянам не стоит, все-таки губы его частенько раздвигались в улыбке. Бывало и хуже: им овладевал произвольный хохот, и тогда он катался по кабине, зажимая себе рот, будто опасаясь, что стенки не выдержат и чинно сидящие над ним у костра услышат эти рыдающие звуки.

Что поделаешь, мы должны простить такое поведение марсианина. Ведь, действительно, наши знания о батюшке-космосе еще очень слабы, свидетельство тому — неослабное обилие открытий, преподносимых нам небесными науками.

Но иногда марсианину, прямо скажем, было не до смеха. Как-то раз, например, разговор закрутился вокруг тайны «бристаньского пришельца», и дед Захарыч принялся клясться и божиться, что упал-то с неба тот самый валун, на котором они все сейчас сидят и прихлебывают чай.

— Вот те Христос! Чтоб мне провалиться! — горячился дед, не подозревая, что еще мгновение, и его обещание сбудется самым полным образом. Рука марсианина, решившего было, что тайна открылась, дрогнула и потянулась к кнопке «утяжелителя». Но к счастью для экспедиции, которая ухнула бы в тартарары вместе с кораблем, сработай только хитроумное устройство ментального провала, дед был поднят на смех и самоконтроль снова вернулся к марсианину.

— А как же «Петр Столбняков в разгар цветущей природы»? «Накопил и машину купил» как же? Что же, дед, частушки эти господь бог на камушке расписал? — под гул повального хохота спросил наверху чей-то задорный голос.

Старик не нашелся, что ответить, смутился и затих.

Получив в свое распоряжение новый язык, марсианин не упускал случая для тренировок в разговоре и шлифовки оттенков произношения. Невидимым образом он участвовал в спорах, принимая то одну, то другую сторону, и иногда точка зрения, в итоге получавшая господство на валуне, внутри валуна оказывалась разгромленной начисто.

Войдя в полемический азарт, марсианин стучал в потолок:

— Эй, наверху, что вы там мелете! Да ведь фракции космических лучей...

Потом марсианин спохватывался, вспоминал об особенностях своего положения и кончал спор в спокойных тонах, сам для себя.

Если всем надоедали разговоры, то кто-нибудь заводил песню, рвущуюся в дремлющие леса удалыми раскатами или медленно уплывающую в темноту леса. Марсианин не отставал и тут.

На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся наши следы, —

подпевал он, и легкая грусть вкрадывалась в марсианское сердце.

...Все это осталось позади: и диспуты, и хоровые пения. Теперь вот молодые березки, жухлые пеньки, влажный воздух да вопрос: «На каком языке думаю?» Отдыхая на пеньке, марсианин искал ответа, но так и не разобрался во всей этой чехарде посланных для разгадки мыслей, слов, стилистических оборотов. Да и не все ли равно, в конце концов, на каком? Он твердо знал, что при случае легко объяснится с первым встречным, ну а дальше — дальше видно будет.

И марсианин решительно зашагал вперед, через овраги и холмы, туда, где не ищи березок, травяной росы, и воздух, наверное, не так свеж, но зато вздымаются

каменные громады, ревет плотный поток автомобилей и светофор мигает ярче звезд первой величины.

В большой город! И ноги марсианина то пружинили на податливых мхах, то легко возносили тело его под положенными, как шлагбаум, стволами, дрогнувшими в бурю.

Постовой Платков заканчивал вахту в хорошем настроении. Сменщик должен был вот-вот объявиться, а ни одного происшествия. Ни наездов, ни смятых буферов — порядок! В левом кармане гимнастерки приятно оттопыривается стопка копий штрафных квитанций — не стыдно и в отделении показаться. Учи-учи этих растяп пешеходов, а все зря. Лезут, неумелые, на рожон. И Платков косил глаза то на оттопыренный нагрудный кармашек, то на антиударные часы — именной подарок за четкость в дисциплинированности. Да, все равно, еще десять-пятнадцать минут — и по домам. Прощайте, лихачи-таксисты, и, дорогой светофор, тоже прощай!

Постовой оторвал взгляд от дареного циферблата и рассеянно посмотрел вниз, на магистраль. Посмотрел — и зажмурился. Господи, наваждение, такого и быть не может. Метрах в тридцати от постовой будки, там, где два бешеных потока лимузинов смешивались в один кипящий, изрыгающий вулканные газы клубок, какой-то пешеход силился прорваться на другую сторону улицы.

— Эх ты, деревня гужевая! — сквозь стиснутые зубы прошептал Платков. Он привстал с сиденья да так и застыл, впившись в картину, скорая развязка которой не вызывала никаких сомнений.

— Ну сейчас! Ах, пронесло! Ну! И-их! — страшным голосом комментировал события постовой. Любая мера все равно уже не могла бы отодвинуть драматического финала.

Водители транспорта тоже находились во власти неизбежных законов двустороннего скоростного равнения: уж лучше давить одного, чем лихорадочным торможе-

нием пускать под откос всю газующую по четырем рядам шоферскую братию. Водители, бледнея, пронеслись мимо зазевавшегося, по их мнению, смертника, но — странное дело — сам попавший в беду человек, казалось, и в ус не дул перед лицом неминуемой гибели. Почерк его походки оставался безупречным. Легкая, танцующая ритмика движений нарушителя сразу бросилась в глаза постовому, и тот понял, что перед ним не пьяница, не деревня гужева, а пешеход редкостного высокого класса, легенда постовых.

Шоферам же со стокилометровых скоростей было не до тонкостей смертельной пантомимы — лишь бы пронесло! Они так и не поняли, что их волнения напрасны. Точными, словно заученными движениями пешеход небрежно уклонялся от летящих прямо на него тонных махин — и ничего! — метр за метром приближался к заветному тротуару. А через один зазевавшийся лимузин он просто-напросто перемахнул, будто и не лимузин это вовсе, а так, учебное пособие, и тут же рядом промелькнуло еще одно искаженное лицо таксиста.

Тут уж оцепенение, застудившее профессиональные действия Платкова, вдруг как рукой сняло, не мешкая, врубил он сигнал красного цвета. Не для спасения, а так, по инерции; чудесный незнакомец сам по себе стоял уже на краю дальнего тротуара и счастливой улыбкой провожал уносящиеся по проспекту экипажи.

Будто ветром перенесло — стоял через секунду Платков на той стороне в полуметре от нарушителя. Радостно дыша, он впитывал в себя каждую черточку, каждую отметину прохожего, готовясь обнять его как друга, без вести пропавшего да вдруг воскресшего из мертвых. Все-таки обнять случайного человека он не решился, а только крепко пожал руку.

Незнакомец же гнул свое — смотрел недоуменно, мол, что за недоразумение?

— Вы... вы чемпион! — вырвалось у постового.

— Чемпион? — не понял прохожий.

— Ну, как бы это выразить... — Постовой и сам чувствовал, что данный термин не охватывает всего случившегося.

— А-а! — он, кажется, понял состояние свидетеля происшествия. — Ну что вы, чемпион. У нас это забава для подрастающего поколения.

— У вас? — недоверчиво спросил постовой, представив проезжую часть, кишашую этим хлопотным поколением. — В каких же краях?

— В иных мирах, — засмеялся неизвестный, испытующе глядя в лицо постового, и, подумав, добавил: — На Марсе.

— Секрет, значит, — понимающе улыбнулся Платков и тут увидел сменщика. Пожав на прощание руки, они пошли в разные стороны, влекомые судьбой момента: постовой сдавать смену, а марсианин дальше, по течению людских тротуарных потоков.

— Понимаешь, — услышал марсианин за спиной отдаляющийся голос постового, — не происшествие, а сказка...

— Сказка жить помогает, — рассеянно отозвался сменщик.

Марсианин шагал по тротуару вместе со всеми, но все знали, куда они спешат, у него же определенных планов пока не созрело. Присмотреться к окружающему порядку, научиться избегать элементарных ошибок, вроде той, что допустил он только что — пожалуй, и все.

Скоро он разглядел, что переходят улицу в определенных местах, очерченных белыми линиями или прорытых под землей. В других же местах на такой риск никто не решался — очевидно, ввиду недостатка физической подготовки. Сам-то он резал автопотоки, как нож масло, — составная часть утренней зарядки любого марсианина. Да и не было у него такой уж первойшей не-

обходимости в злосчастной пробежке через магистраль. Просто захотелось взбодриться, привести нервы в порядок. Но теперь-то он будет начеку. Прежде чем что-либо совершать, смотреть, как это делают привыкшие ко всему горожане. Как это говорили там, в ложбинке: прежде чем браться за пилу, семь раз отмерь — один отрежь!

Нет слов, жизнь города во все времена отличалась сложностью, запутанностью, быстротекучестью. Обернулся, глядь, а уж все по-иному. Марки автомобилей, тщательные наряды жителей, ширина улиц, выражение лиц, линия спины. Вчера жилетки, брелоки, пролетки, цилиндры, телесная тучность. Сегодня таксомотор, плащ, кепи, болонья, легкоатлетизм в рисунке фигуры. А завтра?

Конвейер жизни не знает остановки. Конструируя этот конвейер, природа позабыла снабдить его красной кнопкой с надписью: «Стоп». А может, и не забыла, да пронесло нас мимо кнопки этой, промчало, вот и летим к новым горизонтам.

Жизнь, дела, открытия — все становится увлекательней, полнокровней. Грубый, физический труд требуется все реже. На глазах сокращается рабочий день. Исчезают тяготы быта. Каждый чувствует, как расправляются плечи, глубже становится вдох и выдох, свежееет воздух, каждому становится легче.

Взамен возникают новые проблемы, техника усложняется. Там, где раньше годились и бухгалтерские счета, теперь не обойдешься без саморешающей электроники. Специалисты хватаются за голову перед лицом замкнувшихся в себе неисчерпаемых тайн природы и темпов усложнения индустрии. Им уже не хватает суток, чтобы быть в курсе последних новинок смежных дисциплин. Да, специалистам, наверное, становится все

труднее и труднее. Что же, на то и несут они высокое звание мастеров своего дела.

Уж если и специалист иногда призывает на помощь кибернетическую голову, чтобы разобраться в происходящем, то простому марсианину, лишенному совета наставников и оторванному от своих исследовательских центров, по-видимому, предстояло просто утонуть в пучине этих проблем.

На том Марсе, с которого прибыл межпланетчик, все необходимое для жизни добывалось совсем иными способами. Металлы, ткани, энергия, механизмы — многие даже не знали, откуда появляются эти совершенно бесплатные товары на прилавках магазинов. Заводы, построенные в незапамятные времена глубоко под землей, надежно поставляли предметы любой степени необходимости без всякого вмешательства потребителей — жителей планеты. Надежная, проверенная веками автоматика не знала сбоев, и длинные эскалаторы выносили наверх столько разного добра, сколько требовал жизненный максимум населения, и немного сверх того, резерв, значит.

Среднему марсианину, привыкшему к столь прекрасному порядку вещей, трудно понять, из-за чего бьются люди Земли, лишенные пока что сказочно совершенной автоматики. Однако в свое время марсианин-межпланетчик крепко проштудировал курс истории, где рассказывалось, что и марсиане когда-то стояли у станка, знавали план и перевыполнение его, не чуждались прогрессивки, в общем, каждый получал по труду. Теперь эта книжная история встала перед ним во плоти и крови.

Он быстро понял, зачем универсальным магазинам нужны витрины, а продавцы обязаны сначала взять пестренки, банковские билеты, а уж потом выдать товар. Понял, почему вместо того, чтобы сесть в двухместный моментолет и через считанные минуты выпрыг-

нуть на теплый приокеанский песок, толпы парятся в душном иллюзионе, где мечутся картинки и люди с вожделием взирают на этот самый песок. И почему подметки на ходу отрываются, тоже понял.

«У них еще все впереди, — думал он, глядя на запыленных горожан, штурмующих пригородные электрички. — Будет и моментолет, и океанский пляж, и бицепсы, чтобы шест нес над десятиметровой отметкой, тоже будут. Это от них не уйдет...»

Денег марсианину не требовалось, пищи тоже: зарядился на несколько месяцев вперед. Ночлег? Ну что же, гостиница, конечно, словно создана для него, да ведь каждому свое. Подвесившись в превосходном, приспособленном для этой цели мешке к макушке густой ели, он проводил в загородной чащобе восхитительные, полные привлекательных снов ночи.

Лесная жизнь начинается рано. Ухнет в последний раз сова, сомлеют в горизонтальном свете плоские туманы, и пошел мощный поток птичьего щебетанья. Тут уже не до снов. Марсианин спускался к ручейку, умывался, балансируя на скользком от росы камне, портативно засовывал в дупло мешок и, немного сожалея об отсутствии привычного комплекса утренней гимнастики, устремлялся в город. С первыми электричками.

...Так и шли дни командированного человека-межпланетчика. В трудах, в залах библиотек. Незаметно интроскопируя копировальным аппаратом длинные, уходящие в перспективу ряды книг, он получал микроотпечатки и прессовал их в квадратные таблетки. Таблетки складывались в пустотелый патрончик. Патрончик хранился в заднем кармане брюк. Иногда он вытаскивал его, тряс перед ухом. Патрончик жужжал с каждым днем все полновеснее. Он набивал его кропотливо, размеренно, как набивают порох в гильзу охотничьего патрона. Он набивал его и тряс у самого уха. «Скоро домой!» — под-

певал он сам себе. Этот патрончик взорвется там громче тысячи бомб. Он убедит их: командировка сюда, на Землю, важнее всех мероприятий. В открытую, без утайки, «на ура!». Большим коллективом, на больших звездолетах! В полдень.

Вот, читайте, смотрите, слушайте! На Земле — подобные нам. Тоже ищут себе подобных. Не мы их, так они нас найдут. Им нелегко сейчас, жизнь сложна. Они борются за новый мир, иной быт. Кто поможет им, как не мы? Вспомните наше прошлое, собственное. Разве не помогли бы ему, если б могли. Прошлому не поможешь. Вот оно. Смотрите, слушайте, читайте.

Мы привезем им наши чертежи, наши библиотеки. Пусть знают. Пусть разом перемахнут через барьер времени. Перемахнут — и окажутся рядом с нами. Медленно лет арба. Бык дней пег. Они готовы, они выдержат. Их бог — бег! Сердце их — барабан! — так настраивал себя марсианин, погромыхая патрончиком, как маленьким бубном, в такт каждой мысли.

Он помнил: суровы вожди его планеты. Осмотрительны. Скажут: «Надо подождать. Посмотреть, как они там еще себя покажут, зарекомендуют. Лет сто, двести. Готовы ли к Высшим Истинам. А пока пошлем одного. Пусть обоснуется среди них. Смотрит не открываясь. Докладывает. Лет сто, двести. А там решим окончательно...»

Он знал, какой разговор будет. Потому готовился к нему тщательно, без суеты, расписав дни командировки на самом неотложном: киносъемка, звукозапись, копирование текстов, личные наблюдения.

Светлели напластования утренних туманов, просыпалась в гнезде птица, выкрикивала неважно что, прочищая горло, и пускала пронзительный чистый звук. Ручей, ранняя электричка, в город, в город...

А в брестаньском заповедном лесу жизнь вошла в привычную колею. Тот же дед Митрий Захарыч Пряников обходит дозором дремучие уголья свои, топчет тропинки, крутит крепкие самокрутки. Те же ветра, изнемогая, рвутся по-над ельниками да березняками, сквозят по просекам, гнут скрипучие стволы. Захарыч ставит жесткую ладонь к уху, слушает. «Аль идет кто?» — осторожничают. Запала в стариковскую душу история с павшим камнем. Все ждет, не вернется ли к месту тот из камня выбежавший, ночной человек. Да нет, по всем приметам пока что в отсутствии, глаз лесника зорек.

И камень тот, чемодан вроде который, чаи еще на нем экспедиция распивала, на месте пока лежит. Заворачивает к нему дед — о своем поразмыслить, о даях небесных покумекать. Придет, рукой обхлопает, обойдет с четырех сторон, головой покачает. Задумается.

Лежит пока камушек, что ему сделается. Да долго ли еще отлеживаться ему? Дни идут, стучат механизмы времени, отсчитывают. Каждому часу—свой момент.

Лежит камушек. Только по правому его борту, прежде чистому от письменных знаков внимания, кто-то уже пустил словесное украшение, из левого верхнего угла в правый нижний, второпях даже не закончив его:

*Путешествуя, туриствуя, проходя сии места,
Разрывали воздух твистами, разбивали лагерь-стан.
Мы студенты, мы ракетчики, с рюкзаком рванули в путь,
Отдохнуть от ложпланетчины, в марш-броске очистить...*

ВЛОЖЕНО ПРИ РОЖДЕНИИ

— Ходит он, ходит, — озабоченно заключил майор и откинулся от крупной карты города, — среди нас ходит.

Остальные не разогнули натруженных поясиц. Распластанные над картой города, они будто парили над ним на невидимых крыльях. Точно пронзительные взгляды их могли среди мешанины коммунальных домов, бань, кинотеатров, универмагов разом выхватить того, о ком шла речь, виновника.

— Ходит, ходит, — снова прошелестело над городскими застройками, отлакированными картографическими лаками.

— Брать надо, — торжественно, как бы открывая заветнейшее желание, выложил лейтенант.

— Легко сказать, брать! — Майор значительным взглядом окинул присутствующих. — Где?!

— Слышал я, — грудным голосом любителя многоголосого пения произнес сержант, обязательный слушатель заезжих лекторов, — слышал я, люди далекого прошлого уважают восточные сладости. На восточном базаре брать надо...

* * *

Завязка приключенческой истории этой, взволновавшей должностные и прочие умы города, началась на операционном столе местной больницы.

Голос сержанта звенел, как муха в стакане. И все снова склонились над картой, кто с циркулем, а кто и с простой древесной линейкой, высматривая положение базара дынь, хурмы, халвы азиатской.

Молодой, но твердо уверенный в себе хирург больницы этой брал скальпелем мышцы пациента энергично и даже привычно-весело. А волокна шли одно к одному. Без грамма жира.

— Пресс культуриста! — хвалил хирург, стремительно проникая в податливые полости брюшины. — А печенка! — От восхищения руки врача остановились, и на секунду работа прервалась. — Убей меня бог, если это не та самая абсолютно нормальная печенка, математическая модель которой создана Мак-Петровым. Без малейших отклонений. Которую ищут все клиницисты.

— Ну уж, та самая... — Теперь и ассистент склонился над больным, цепко вглядываясь в его внутренности.

— Да, действительно напоминает... — Ассистент выпрямился и быстро оглянулся по сторонам, считая свидетелей разговора.

Взгляды хирурга и ассистента тревожно встретились и снова разбежались по внутренностям больного.

Возможно, будь рассказ этот навеян иностранными мотивами, сюжет его увлекательно повернул бы к похищению абсолютно нормальной печенки, перепродаже из рук в руки и большому бизнесу, ажиотажу вокруг феномена. А в эпилоге, подчиняясь законам жанра, юный и, положим, безработный студент, которому во время операции всадили чужую печенку, ходил бы на последние центы в Федеральный музей медицины обозревать абсолютную печень, стоящую теперь миллионы, не подозревая, что печень-то его, кровная.

Но поскольку истинные события никоим образом не были связаны с местами, где все продается и все покупается, а, наоборот, протекали в местах обыкновенных, отдаленных от соблазнительных, а потому сомнительных коллизий супергородов-спрутов, дышащих ежесекундной возможностью внезапного возвеличения,

то и сюжет наш не промчится по разным авеню и стритам и не вольется в то медленные, то бешенные потоки «шевроле», за рулем которых метры науки чеканного профиля и сатанеющие от близкой сверхприбыли деяги бросают из угла в угол рта многодолларовые сигары.

Трепет и даже некая опаска, заставившие ассистента обернуться по сторонам, возникли по причинам иным. Сенсация или даже намек на нее редко посещали скромную больницу: точнее, не посещали никогда. Прожекторные световые столбы, излучаемые светилами медицинской практики, смыкались где-то высоко над крышей двухэтажной больницы. Там, в жгучем переплетении лучей, как пойманные метеориты, блистали уникальные диагнозы и исцеления, по-метеоритному сгорали величайшие из неизлечимо больных, и только легкая как тень пыль этого пожара бесшумно оседала на больничную крышу.

И вдруг такое! Абсолютная нормаль!

И однако, операция прервалась лишь на несколько мгновений.

— Сенсация?!

— Да, сенсация.

— Первая и последняя.

— Заметано!

И все опять пошло как по маслу.

Уж такая работа у хирурга — нельзя удивляться. Удивисься, ахнешь, а уж какой-нибудь нерв в клочьях. Вот отчего хирурга тотчас отличишь по железному рукопожатию и особой, жесткой безоговорочности в суждениях. Отступать некуда, только вперед! Потому и в народе идет об этих людях твердая слава.

Молодой больной отдал свое здоровье в надежные руки. Хирурги словно позабыли о чудесной находке и вершили начатое с удвоенной легкостью, что в любом филигранном деле свидетельствует о повышении само-

отдачи до уровня полной самоотдачи. Скальпель блистал в бестеневом свете медицинских ламп, как сталь коньков фигуриста, экспромтом срывающего звание восходящей звезды.

Казалось, дай еще незначительное прибавление темпов, и в ушах запоет серебристый звон вибрирующего на перегрузках скальпеля. И действительно, что-то вдруг звякнуло, а точнее, скрипнуло, будто сталь прошла по стеклу. Бывает такой ничтожно слабый, но прохватывающий все нутро звук.

Но настоящий мороз по коже прошел через секунду или через несколько секунд, точной цифры тут не установишь. А именно тогда, когда скальпель вдруг остановил стремительное проникновение, упершись во что-то предельно твердое.

Не спасовали люди и здесь. Скальпель автоматически перешел в пружинные руки медсестры, а во взрезанную мякоть погрузились пальцы хирурга, обтянутые резиной перчатки. Но тут же резким движением изъяс он руку из недр больного, и на свету затрепыхало это нечто ставшее на пути скальпеля — прямоугольная, трепещущая, как пойманная рыба, но плотная на ощупь пластинка, испещренная четкими письменами. Она колыхнулась несколько раз, озаряясь молочно-розовыми, идущими из средних слоев тонами, и... напроць окаменела.

Впоследствии и оперирующий и ассистент во всех инстанциях единогласно заявили, что пластинка трепетала как живая. Эксперты только головами качали.

— Чисто нервное, эффект психической перегрузки, — говорили эксперты прочности. — Машины, разрывающие материалы, сломались, пластинка же осталась цела. Камень!

Трудно, конечно, противостоять убедительности актов. Документация! Но хирург точно помнил, как трепетала в руках вынутая пластина. Рыбье биение ее он

ощутил не только зрением и слухом, но и костяком пальцев, утонченной плотью своей, а плоти мы верим больше, чем глазам, ушам, графикам и документам, вместе взятым.

— Поймите, — говорил он экспертам, — твердая пластинка такой конфигурации не может безболезненно вписаться в ансамбль живущих тканей. Она обязана быть эластичной.

— А теория молекулярного строения? — козыряли материаловеды. — Какая, спрашивается, структура способна к подобному перевоплощению? За считанные секунды.

— Тем не менее, — чеканил хирург, — человек сохранил прямоугольник неопределенно долгое время: на покровах пациента не было ни швов, ни надрезов, все заросло. Пластинка не мешала ему. Операция потребовалась из-за обыкновенного внутритравматологического гнойника.

— Больному ничего не мешало? — поддельно оживлялась комиссия. — Так давайте устроим опрос больного!

Такой ход мысли откровенно лишен логики, но очень уж хотелось всем своими глазами взглянуть на чрезвычайную личность.

Разумеется, хирург не сразу рискнул приступить к странному в стенах учреждения, волнующему кровь разговору.

— Прекрасная у вас перистальтика, — вскользь замечал он, будто случайно задерживаясь у заветной койки, — показательное отсутствие вредной микрофлоры...

— Ничуть не удивлен, — хладнокровно соглашался пациент, — первая болезнь за все протекшие времена. (При слове «все» он едва уловимо усмехнулся.)

Перед глазами хирурга прошло много мнимых здоровяков, бравярующих несокрушимостью организма,

с показным шиком бросающих взгляды на острия хирургических инструментов — эх, до поры до времени! Но здесь привычные мерки не подходили.

Даже необъятный, вредительски скроенный казенный халат мутных, сивушных расцветок не мог скрыть конструктивной законченности сложения этого человека. Такие тела хирург видел на журнальных фотографиях: эмульсионно лоснясь, они взвивались над планками пятиметровых отметок, пружинно срабатывали в коронных апперкотах, стремительным спуртом вспарывали воздух гаревых дорожек, оставляя за спиной клубящийся вакуум, подчеркиваемую ретушерами пустоту.

— Ну а вот ощущение... мм... внутренней угловатости не посещало вас? Да, угловатости. — Досадую на себя, хирург отметил, что голос его приобрел льстиво-коварное, насморочное звучание, каким в радиопередачах наделяют кокетничающих лис и министров королевского двора. — Вот знаете, забыли однажды внутри оперируемого пинцет. Забыли, понимаете, пинцет, и баста! Стерильно чистый, прокипяченный такой пинцет. Реконвалесцент был удовлетворен исходом операции. Но однажды-таки почуял присутствие излишнего предмета. И пинцет, к общему торжеству, был изъят из тела.

— Пинцет? — Больной разглядывал доктора с неподдельным и всевозрастающим удивлением.

Но выйти из образа работающего на намеках детектива хирург уже не мог.

— Да, пинцет. Обратиться к специалистам заставило его вот это, я бы сказал, геометрическое ощущение угловатости. Во сне ему снилось, будто он работает шпагоглотателем и иногда заглатывает шпаги натуральным образом, без обмана.

— Доктор, — меняясь в лице, сказал больной, —

вы готовите меня к чему-то ужасному. Уж не зашили ли вы мне чего-нибудь лишнего?!

От этого вопроса лоб доктора собрался морщинами, точно лужица под секундным ударом ветра.

— Нет, нет! — в отчаянии замахал руками хирург. — О пинцете это я так, ассоциативно. Аллегория!

Теперь, казалось, больной вообразил, что над ним просто не очень удачно подшучивают, испытывают грубоватый медицинский фольклор. Он безучастно откинулся на подушки, потеряв видимый интерес и к разговору, и к стоящему перед ним врачу.

Тогда доктор решился на крайнюю меру. Он пошел в лоб, во весь рост, как солдат идет против танка, пугаясь собственной решимости, но полный новых надежд.

— Мы вам ничего не вшивали, — страшным шепотом сказал он, и весь груз сказанного улегся на это «мы». — Прodelал это кто-то другой. Давно, в детстве...

Превозмогая сопротивление тугих бинтов, больной привстал с кровати. Доктор продолжал рассказывать, пристально вглядываясь в лицо потрясенного собеседника.

— Зачем вы не положили ее обратно? Зачем?! — словно в бреду вырвалось у больного. — Никто не должен был знать. Никто! Даже я. Это послание. Послание, но не для ваших эпох. Вы все равно...

И, разрывая бинты, больной рухнул на подушки.

— Кислород! — повелительно протрубил хирург, в мгновение оказываясь у дверей палаты.

Топот ног шквалом пронесся по больничному коридору.

— Тишина! — рявкнул он в сумрак служебных пространств.

Коридор замер. И в легкие больного хлынули свежие потоки живительного газа.

Ввергнутый ходом событий в ситуацию хирургической действительности, доктор как бы обрел самого се-

бя. И привычный покой профессионально окутал его сердце.

В коротком лихорадочном признании больного доктор уловил хрупкий, как тающая льдинка, край тайны, рассеивающегося миража. О каких эпохах проговорился больной? Кому суждено расшифровать текст таблицы? Кто, в конце концов, зашил ее? И зачем?

— Доктор, — неожиданно произнес больной. Доктор вздрогнул. Он знал: такие голоса принадлежат привыкшим повелевать, превышать полномочия. — Пластинку необходимо вернуть. Извольте вернуть!

Доктор отчетливо осознал — большего из него не выжмешь.

* * *

— Все же последнюю-то фразу прочитали, — оправдываясь, сказал с места специалист по клинописям. При этом он развел руками, показывая, что, мол, сделали все возможное. — Получается однозначно: «ВЛОЖЕНО ПРИ РОЖДЕНИИ».

Импровизированное совещание по итогам всесторонней экспертизы «Пластинки Эпох» (иначе ее теперь не называли) подходило к концу.

— Да, получается, — согласился хирург, — этот вывод напрашивался и из чисто клинических впечатлений. Но вот датировка...

— Датировка убийственна... Классный результат... Точные методы... — раздались голоса с мест.

Все зашевелились вместе со стульями, подтверждая тем значимость этой части экспертизы.

— Одиннадцать тысяч лет, цифра, конечно, ошеломляющая. Можно полагаться на ваши результаты? — спросил хирург, отыскав кого-то глазами.

— Не подлежит сомнению, — веско ответил очкастый физик, представитель лаборатории проб време-

ни. — Вещичка сработана и вложена одиннадцать тысяч лет назад. Подпись потрудились поставить... — он зашелестел листком папиросной бумаги, — два доктора и несколько кандидатов наук. Матричная обработка краевых условий гистерезисно-интроскопийной кривой... Чисто теоретические интересы требуют...

— Ну, поехал, — пробурчал чей-то недовольный голос.

— О времени он говорил что-то очень своеобразное, — хирург пошарил взглядом по потолку, — очень поэтическое.

Ну будто бы он как бутылка с письмом: брошен в океан времени. Катапультирован в века.

— Как же так! — с отчаянием вырвалось у кого-то. — Человек, можно сказать, заброшен в века, прошел через тысячелетия, мелькнул рядом совсем и не остановился. А у нас реальная была возможность, да упустили.

— Не остановился, — с горечью согласился хирург. — А вы, как бы вы поступили на его месте?

Человек зябко передернул плечами.

— Ушел, а расшифровать пластинку нам не дано.. Уауалировка образами, абстрактная манера письма. Не доросли. Не та, понимаете ли, эпоха! Не угодили! — В иронии хирурга все же явственно проступили интонации обиды, досады на кого-то, посчитавшего эту эпоху неокончательной, недостойной главного внимания. — Выздоровел в три дня. Собрался и ушел. Ка-акой организм! — Хирург даже всплеснул руками.

По залу прошелестел вздох, вздыхали язвенники, почечники и гипертоники.

— К событию нужно подойти шире, — сказал, вставая, человек в старательно, видно, с утра отглаженном костюме и очень чистой рубашке, преподаватель истории. Вставая, он быстро втянул манжеты сорочки в рукава — запонки на них были разные.

Историк тщательно, в мелочах продумывая все, как к празднику готовился к совещанию, полагая, что выступить главным образом придется ему, лучше других знакомому с пройденными этапами человеческого общежития. Большинство же явилось, имея на руках рулоны ватмана с ярко раскрашенными графиками, выкладки, украшенные интегральными выражениями, столбцы цифровых показателей. Доклады грешили, он бы сказал, узостью научного местничества. И историк, беспокоясь прислушиваясь к сжатым, прессующим неизвестные термины речам, все ждал, когда перейдут к основному, обобщающему эпохи. До конца совещания оставались считанные минуты. Он искал взглядом графин с водой.

— Шире — это значит с позиций перспектив. Ведь кто знает, сколько у него таких пластинок было. Вдруг не одна?!

— У вас выкладки, расчеты? — сухо прервал его секретарь, представитель группы прочнистов, человек в куртке из кожзаменителя.

— Да что вы все — вычисления, вычисления! — возстал преподаватель, но внезапно уверенность покинула его, и он сел.

— Может, и не одна, — ответил хирург, — но симптоматичнее то, что он пренебрег этим экземпляром. Верно, пластинка не столь уж и важна для него. Может быть, в минуты откровенности он пытался поведать о своем прошлом, взывал к доверию. А мы все века крутили пальцем у лба. Зевали. Обидно смеялись. Теперь он смеется над нами, а жить ему тысячелетия.

— Забудет, — убежденно произнес чей-то бас.

— Он упоминал о каких-то братьях по времени. Будто не один он послан через века. Что они проявляются то в одном, то в другом месте, коснутся нас — мчатся дальше, несут эстафету времени. Кто они, эти посланцы? Может, последние Атланты? Как бомбу времени несут они тайну тысячелетий, всю правду. А пла-

стинка просто мандат перед людьми будущего. Свидетельство о рождении. Там уж сумеют расшифровать, в нужной эпохе. А нам — что же жалеть, предназначено не для нас. Но искать надо. Не мы, так дети наши, внуки вдруг найдут!

— Да, будем искать, будем! — дружно поддержали все, вставая с мест.

*
*
*

Собственно, на этом следовало водрузить последнюю точку повествования. Казалось бы, сюжет исчерпал себя до дна, по законам приключенческого жанра прошел через небывалую завязку, испытал и цейтнот кульминационного происшествия. Однако чрезвычайные обстоятельства, тесно связанные с дальнейшей судьбой восхитительной пластинки, заставили автора снова взяться за перо.

Если помнит читатель, рассказ начинался с организованного поиска замечательного больного. Собственно, искать начали после ошеломляющих итогов экспертизы. До этого хирург был относительно спокоен: ну, печень, ну, пластинка, ну, выписался человек. Однажды в общем-то в текучке жизни промелькнуло нечто подобное: работник торговой сети проглотил шило. Ну, извлекли. В городской газете не поскупились на место, дали репортаж «Проглоченное шило». Газетная та вырезка подбадривала, успокаивала. Мол, обойдется и на сей раз. И вдруг сто одиннадцать веков!

Помчались по месту жительства. Соседка рассказывает:

— Из больницы явился сам не свой. Собрал чемоданчик, бумаги какие-то во двор вынес, сжег. Прощаться начал. Вдруг вещички бросил, побег куда-то. Возвращается с килограммом апельсинов, подарок, значит, нашей Машутке. Любил девочку, потакал ей. Все сказки

рассказывал. Сядет, бывало, на табуретку, глаза в стенку, и пошел. Девчонка несмышлениш еще, а не оторвешь. А он как по-писаному. И про тьму египетскую, и про пирамиды, про булатную сталь, и совсем про неизвестные времена. Мол, была такая земля обетованная, да под воду ушла без остатка. Потопом занесло будто. Я, случалось, заслушаюсь, хоть телевизор не смотри. Да спохватишься: обед на конфорке пригорает, бельишко неполосканное мокнет. Спрашиваю, откуда, мол, все знаешь в подробностях. Как глазами повидал. А он смеется, говорит: а что, как и в самом деле смотрел, пирамиды эти своими руками выкладывал? Пошутить любил!

Пошутить! Хирург яростно сжал кулаки. Простая душа, щи на кухне убегали. Магнитофон надо было заводить! Да что уж там...

Искали его поначалу лихорадочно. Беспокоили схожих лиц. Тройными взглядами обмеривали в те дни таксисты профили и фасы пассажиров. Куда! За тысячелетия усовершенствовался он в искусстве растворения среди масс. Поди разведай все его потайные приемы.

Пришел тренер, организатор городских олимпиад. Рассказал:

— В прошлом сезоне сидел один человек на трибунах, молча сидел. Вдруг не выдержал. «Плохо бегут!» — сказал. Рубашку снял, грунт ощупал да как рванет. У меня сердце похолодело. «Не заявленный, — думаю, — куда ж он в брюках!» А уж круга четыре стайеры прошли. Он эти четыре прочесал за милую душу, к фаворитам пристроился, да так и повел, весь бег за собою повел. Стадион, понятно, шумит. На девятой тыще метров обернулся, смотрит: стайеры позади трудятся. Каждый в своем графике выкладывается. А жарища! А он только рукой махнул. «Ий-эх!» — говорит, брюки скинул, да как припустит по стометровочному. Гляжу на циферблат: «Батюшки, рекорд бьет!»

Подлетаю к нему: «Рекорд! — кричу. — Рекорд!» А он косо так, одеваясь, глянул: «Какой, — говорит, — там еще рекорд? В Греции, — говорит, — разве так ма-рафонили?!» Я говорю: «Голубчик, родной, приходите, на весь мир прогремим, в веках останемся». А он только: «Греметь мне вроде ни к чему, а в веках мы и так останемся...»

Годовой давности показания тренера не могли существенно повлиять на ход поисков, как не могли потеснить систему официально зарегистрированных мировых рекордов.

...В первые дни хирург лично выходил на поиски. В шляпе, сдвинутой на брови, он кружил по магистральным и окраинным улицам. Как режиссер, гоняющийся за фотогеничным типажем, с биноклем в руках забирался на уходящие из-под ног крыши домов, и крупным планом плыли перед ним задумчивые лики пешеходов.

В одну весьма дождливую ночь на углу улицы он лицом к лицу столкнулся с человеком в водонепроницаемом плаще. Сердце стукнуло: он! С поднятым воротником, в глубоко нахлобученной шляпе, незнакомец шарахнулся за угол и пошел петлять темными переулками.

Придерживая дыхание, хирург маячил позади, забегая в темные ниши и подворотни. В отсыревшем воздухе плыли специфические запахи водоотталкивающего плаща незнакомца. Из канав, застилая переулки, вставляли торжественные туманы, и незнакомец умело тонул в них, будто прокладывал путь по известным ему туманообразованиям. Оступаясь, он сквозь зубы цедил что-то в адрес ненастья. Хирург прислушался и обомлел: отборная латынь! Язык древних! Он!

Но снес хирург и это разочарование: студент-фармаколог зубрил по дороге тексты рецептов...

Засыпая, хирург закрывал глаза, и крупным планом, экранно всплывали картины сегодняшнего, конспиративного бытия пациента. Вот он пробирается по запружен-

ным улицам центральных городов, ищет себя в зеркальных отражениях витрин. Неузнанный, усаживается в кресла сверхзвуковых лайнеров, легкой походкой проходит в вестибюли приморских гостиниц...

Днем хирург гнал прочь эти иллюзии, днем он колдовал над пластинкой. Он все-таки не оставил мысли доказать, что пластинка была идеально гибкой. Хирург брал на базаре свежие куски говядины и обкладывал ими пластинку. Да! Поверхностные ее слои начинали сами собой мягчать, а на торцах, вызывая сухое потрескивание в воздухе, змеились мерцающие прожилки. Чем свежее попадались куски, тем сильнее сказывался эффект размягчения.

Специалисты, коим посчастливилось участвовать в многогранной экспертизе пластинки, тоже не сидели сложа руки. Многие из них уже собирались защищать диссертации на собранном материале, другие изыскивали пути практического применения свойств «Пластинки Эпох».

Хирург не завидовал их деловым достижениям. Пошло на пользу кому-то, плохого в этом нет. Сам он воспринимал эту историю поэтически, художественно и переживал ее. Но кому поэзия, кому материальная сторона вопроса. Впрочем, и сама поэзия, в ее чистом виде, разве это только прекрасные слова, туман и молнии образов, аромат типографских красок? Нет, это и печатные станки, ржавеющие, если не покрасить; леса, плывущие к комбинатам, бухгалтерия, наконец! Стоят, гнутся в промозглых ветрах таежные стволы, а строчки, удачные, негодные ли, уже заготовлены на них, брызжут из-под пера...

Иногда хирург встречал преподавателя истории. Вот уж кто не скрывал недовольства поведением бывшего обладателя «Пластинки Эпох».

— Эх, будь я, к примеру, на его месте, — с ходу заявлял он, — отгрохал бы монографию. Все бы связал,

обосновал на фактах. А личные наблюдения! Это же главы! Да на одних личных наблюдениях...

— Написал, и за новую монографию садись? — возразил хирург, любуясь азартом собеседника.

— А что, почему не каждый век? — опешил историк.

— А вот и принимайтесь. Начинайте с нашего века. Он вам знаком, — улыбался хирург.

— Времени не хватает. Занятость. — Историк хлопнул по пухлому портфелю. — Ведь у него-то столько времени в запасе было!

— Да разве дело в запасах? — целил в уязвимые места хирург. — Сами-то те времена вспомните. Куда бы вас за такие делишки отправил, скажем, Калигула? Или, например, Грозный Иван? Так бы и загудели ваши монографии.

Историк трудно молчал.

— Помните монолог Пимена: «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный... и, пыль веков от хартий отряхнув...» Когда-нибудь, пыль веков, безымянный... Он знал, с кем имеет дело, своих начальников. Тоже ведь бомбу времени закладывал, по-своему, по-монашески.

На длинные разговоры времени у хирурга не было. Он спешил к себе в лабораторию. Доводить начатое. Предстояло еще вживить пластинку подопытному животному и тем окончательно подтвердить первые успехи на говядине.

* *
*

Несколько псов уже не выдержали операционного режима и быстро скончались. Но то все были трущобные городской закалки дворняги, облезлые твари, прозябшие в ничтожных сварах и тоске по настоящему хозяину. Хирург дал объявление: «Нужна послушная собака с рекомендациями...»

Поздним вечером у него на квартире прозвенел звонок. Хирург открыл дверь. На лестничной площадке никого не было. Однако из сумрака подъезда доносилось частое дыхание и... ну, конечно, тихий скулеж. Хирург включил лампочку. В углу площадки сидел огромный добрый зверь и преданно смотрел прямо в глаза хирурга. Хирург присвистнул. За ошейником пса торчала записка. Он прочитал:

«Наш безвозмездный подарок уважаемому доктору. Чистопородный, дрессированный волк. Убеждены, что монтаж пластинки разрешится так же легко, как и тогда, 11 тысяч лет назад. Хотим верить, что пластина пойдет по своему прямому назначению... Группа энтузиастов, бывшие пациенты доктора».

Пойдет по своему назначению... Последние строчки несколько озадачили доктора. На что намекали энтузиасты? Впрочем, о целях эксперимента знали многие, а подарки у дверей квартир лечащие врачи находили не раз.

Доктор проследовал в кабинет, зверь шел рядом, прижимаясь к правой ноге хозяина. Хищник мягко вспрыгнул в кресло, тотчас показал трепещущий, как пламя, язык и принялся осматривать помещение. Разумный, осмысленный взгляд животного поразил доктора. Видел хирург умные взгляды собак, но здесь уж природа просто перехватила. Взглядом исполнителя, описывающего имущество, осмотрел серый убранство комнаты. Запоминал, где что лежит. Не легкомысленное собачье любопытство, а работа мысли сквозила в каждом взгляде. Доктор крепко схватился за ручки и ушел в кресло, в самые его глубины...

На другой же день, не мешкая, он приступил к делу. Блестяще удалась операция! Волк сам подошел к месту и лег на бок, приглашая начинать. Доктор сделал разрез, и пластинка легко скользнула в образовавшуюся полость. Волк тотчас блаженно прикрыл глаза, буд-

то не оперировали его, а кормили вкусной похлебкой. И что же? — придержав руку в операционном проране, доктор ощутил знакомый, тот самый, рыбий трепет пластинки. Он помнил его!

Вскоре состоялась первая прогулка. Волк лихо затрусил вдоль больничного забора, круг, еще круг. Кто бы поверил, что совсем недавно отточенный скальпель гулял меж волчьих лопаток.

Другой раз доктор повел его собственноручно. Приятно гулять в компании с таким матерым, подобранным в теле экземпляром животного мира. Воплощение здоровья, силы и красоты! Доктор залюбовался им.

Неожиданно тонкий, высокий посвист прокатился над заборами пригорода. Свист, как аркан, взвился над головой и осел, рассыпался в яблоневых ветвях больничного сада. Звук оборвался на самой высокой ноте, и доктор увидел, как прынули уши осевшего на задние лапы волка.

— Держите! Держите его! — успел прокричать доктор. Но бедствие уже разразилось. Грозно щелкнув пастью, зверь мгновенно обернулся по сторонам, и серое, легкое в полете тело его дугой изогнулось над частоколом забора.

Персонал высыпал за ворота. Огромными прыжками, не оглядываясь, зверь уходил к лесу, туда, откуда снова хлестал и хлестал призывный раскат свиста.

* *

Начальник ветеринарно-звероводческого контроля только побрякивал, когда ситуации повести выходили на предельную перегрузку.

— Н-да, прошлое, будущее... Увлекательная штука! — начальник контроля прищелкнул языком. — Но он-то хорош! Не спасовал перед веками. Мужик, видать, не из пугливых. Мо-ло-дец! — емко похвалил он челове-

ка из времени словом, коим награждают и дворника, расчистившего проезжую часть, и школяра, принесшего радость родителям — заветную пятерку, и лейтенанта, отстоявшего господствующую высоту.

— Молодец-то молодец. А вот как зверя сыскать? — напомнил доктор о цели своего визита.

— Пса-то? — добродушно отозвался ветеринар. — Где ж его найдешь? Ушел небось в стаи. А скорее подсунул его вам этот загадочный больной. Не было никаких энтузиастов. Неспроста и в записке о прямом назначении сказано. Принес зверь ему пластинку, вот оно и прямое назначение. Припрячет в хорошее место, а то и обратно зашьет.

— Но вы представляете, сколько тайн завязывается на этой пластинке. Из прошлого, из будущего... — не теряя надежд, сказал доктор.

— Чего уж там не понимать, — согласился ветеринар. — Будущее вслунет. Загадочно. Прошлое еще более загадочно.

Ветеринар значительно помолчал.

— Но для нас, людей каждодневной практики, самое загадочное — настоящий момент!

* * *

Что поделаешь, умчался волк — в стаи, к хозяину ли своему? Дело о «Пластинке Эпох» на этом и застопорилось. Действительно, нельзя ведь всем броситься на разгадку одной лишь тайны природы, одной из тысяч. Настоящий момент перегружен ими, наболевшими тайнами, успевай только разворачиваться. И какую же из них решимся мы озаглавить за номером один?

Многие уже изучаются; несомненно, какой-то процент их скоро предстанет в исчерпанном до дна виде. Иные разгадки окрестят прозорливыми, иные — гениальными. А вот загадки, как их расставить по полоч-

кам? Ведь не говорят «гениальная загадка природы». Загадки, как курсанты в строю, кто из них станет генералом?

Но в том-то и дело, что загадка «Пластинки Эпох» соприкасалась где-то с чертой, за которой открываются искомые дали гениальности. Потому, видимо, и потрясла она соучастников происшествия. Потрясла так, что будут они теперь долгие годы зорко вглядываться в собеседников, вслушиваться. Нет ли в них чего такого странного, а на самом деле необыкновенного. А вдруг да тоже гость из Времени, из тайных зон гениального?! Ведь не один бродит по свету.

Как сказал Он сам, вынырнув однажды в одном из сновидений доктора: «Оглянитесь, есть среди вас с прекрасной отметиной, огражденные временем. Тоже «Вложено при рождении», каждому своей мерой. Конечно, многих судьба обошла, но кое-кому вложено!

Только не будьте слишком суровы к ним, не спугните, потом ведь не воротить. Край вечного зыбок, уйдет из рук, если не так взяться. Не каждому и виден. Вот меридиан на глобусе четок и строг, натянут, как бельевая веревка, от полюса к полюсу. Но кто ж видел его среди автострад и полей? А грянула магнитная буря и пошла буйствовать, рушить радиосвязь, плясать по ионосферам. Попробуй одерни, вынеси выговор по административной линии. У многих руки чешутся, да не дано!»

Ах, промчалось видение, обожгло грудь мимолетных свидетелей звездным жаром, стужей космоса. Взвилось по-дельфиньи, переблеснуло, чтобы без следа уйти в глубины коловороты времени. Появится ли снова, жди!

А ведь будет с кем-то разговаривать, смотреть в глаза, ввергать в трепет чьи-то сердца и... бесследно исчезать, разлагаясь на полутона зрительных воспоминаний. Как герой киноэкрана, распростерший улыбку в двухмерном, плоскостном мире полотна обозрения: стреляет,

мчится на автомобилях, прыгает из окна, ненавидит, страдает, и зал страдает вместе с ним. Но вспыхнула под потолком люстра — ничего, пустое полотно экрана. Он умер до следующего сеанса.

И так до нужных эпох. А там появится, скажет:

— Я пришел! В трех измерениях объема и четвертом измерении — Времени. Я и братья мои!

ОТ АВТОРА

В читательских кругах устоялось мнение, что писать фантастику — дело, по-видимому, нехитрое. Во всяком случае, тысячи научных и ненаучных сотрудников веруют в это — кто в глубине души, а кто и в категорическом откровении подобного мнения. Свидетельством тому — широкий поток научно-фантастических рукописей, орошающий литературные отделы всевозможных редакций. Возможно, что моя книга рассказов укрепит это распространенное заблуждение.

А может быть, и наоборот. Когда мы слушаем «Сомнение» Ф. Глинки в исполнении Ф. Шаляпина и подпеваем внутренним голосом, кажется, что у каждого из нас выйдет не хуже. Но нет, не выходит. Так и в любом жанре человеческой деятельности.

Научная фантастика... Студентом МВТУ имени Баумана я и не помышлял, что однажды войду в списки авторского актива жанра, испытавшего на своем веку немало взлетов, падений, и наконец обретшего свободное парение под пристальным и отчасти тревожным взглядом читателей эпохи нагрянувшей мировой научно-технической революции, частично передавшей прогнозирование будущего из рук писателей-фантастов в производственные программы НИИ, что, собственно, только усилило обаяние магии предсказаний чисто литературного толка.

Классические галереи и аудитории старинного училища, его про-

копченные литейные ряды мощных станков мастерских металлообработки, царственная тишина многочисленных лабораторий, строгие лики великих бауманцев XIX века, задумчиво взирающих с дворцовых стен старинного колледжа на молодое поколение спортивно скроенных студизисов... Здесь волей-неволей целишь личное будущее на служение науке — чистой или прикладной, и родничкам художественных помыслов, закипающим в подсознании, не устоять против захватывающего воображение величественного течения технических задач века.

Из бойниц этого дота открывается панорама, загроможденная конструкциями всевозможного назначения, и на стальном фоне чисто производственной картины образы литературного, в том числе научно-фантастического эпоса колышутся эфемерными призраками, жизненная власть коих ограничивается, дай бог, правом совещательного голоса.

Курсовые проекты — вот скромные повести студента МВТУ. В их сюжетах он волен фантазировать, казнить или миловать отдельные гайки, шпонки, шестерни, варьировать эскизные наброски, усмиряя, впрочем, сюжетные порывы суховатыми требованиями ГОСТа. Записные книжки студента украшаются обрывками формул, схемами узлов и деталей, бегло заносимыми в электричке, метро, трамвае, где придется.

Все это в порядке вещей, да вот напасть: поток конструкторского полуфабриката, пополняющий мои записные книжицы, то и дело разрывается формулировками, чуждыми духу чугуна, стали, сопротивления материалов, дисциплин точных. Слышу чье-то занятное выражение, вижу колоритную сцену из жизни улицы, фиксирую чей-то энергичный жест — записываю. Зачем, спрашивается? А зачем люди мечутся вокруг кожаного мяча, травят короля пешками, конями, слонами и самой королевой? Предаются всевозможным играм. Приятно! Так и тут. И потому в старых записных книжках среди интегралов и схем нахожу:

«Блочная стена моей комнаты исполняла концерты для скрипки с оркестром, ругалась басом, взвизгивала по-бабьи, застольно пела неверными голосами соседей про Стеньку Разина, и только не плясала цыганочку».

«А вы что сегодня изобрели? — разговор в дамской парикмахерской XXI века».

«Невозможно, как столкновение двух лифтов».

«Он чувствовал себя шпагоглотателем, проглотившим шпагу натуральным образом».

«Люди здесь достигали глубочайшей старости. Но получалось это у них чрезвычайно быстро».

«Он работал обыкновенным продавцом в табачном киоске, научных трудов не имел, не выписывал, не читал, о социологии слухом не слыхал и жил в душевном покое, твердо надеясь, что на его веку мужики и бабы не освободятся от смертельной привычки к куреву, и потому полюбившаяся работа в киоске всегда будет его привилегией. Он не подозревал, что директива о замене поголовья табачных капитанов кибернетическими автоматами-американками принята окончательно и бесповоротно».

Сюда же под знаки интеграла заносились: высказывания представителей неточных наук, поражавшие меня отточенностью и математической строгостью формулировок.

«Развитие всех наук только через множество перекрещивающихся и окольных путей приводит их к действительно исходной точке». (Карл Маркс)

«Человеческий ум широк, между тем как мир узок, и потому мысли легко уживаются в первом, между тем как вещи резко сталкиваются между собой во втором». (Макс Пикколомини в драме Шиллера «Смерть Валленштейна»)

«Нетерпимость всегда враждебна истине и выгодна лишь лжи. Истина любит критику, от нее она только выигрывает; ложь боится критики, ибо проигрывает от нее». (Дени Дидро)

«Истинное и настоящее легче распространялось бы в мире, если бы неспособные производить его в то же время не были бы в заговоре: не давать ему хода». (Шопенгауэр)

«Для истины достаточный триумф, когда ее принимают немногие, но достойные; быть угодной всем не ее удел». (Дени Дидро)

«Никакой талант не превратит в истину того, что составляет ее прямую противоположность». (Г. В. Плеханов)

«Истина не должна зависеть от тех, кому она должна служить».
(В. И. Ленин)

Так развивалась опасная, как выяснилось впоследствии, игра с зарисовками и выписками. Сомнение в безраздельности привилегии точных наук на точность формулирования процессов и явлений мало-помалу созревало, хотя сомневаться в таких вопросах студенту технических наук вроде бы и не к лицу.

Но вот ты и инженер. Требуется вписаться в индустриальный пейзаж мощного предприятия, войти в антураж лабораторного оборудования, которым следует толково распорядиться. В захлестывающей лавине отраслевых журналов, бюллетеней, технических отчетов лабораторий и фирм, академических докладов мелькают сообщения об аналогичных разработках. Необходимо быть в курсе успехов товарищей-конкурентов. К тому же полезная информация может появиться с самой неожиданной стороны: ведь по открытому лет тридцать назад закону рассеяния информации только треть сведений, касающихся той или иной проблематики, концентрируется в изданиях, специально посвященных этой проблематике. Остальные две трети оседают бог знает где.

Многочисленные свидетельства поразительных возможностей человеческого разума складываются у инженера в картину величайшей трансформации мира, рядом с которой все преобразования минувших эпох могут показаться игрушечными, как номер фокусника, за которым стоит только ловкость рук, поставленный на фоне артистической манипуляции оператора прокатного стана, играющего экспрессным бегом тысячетонного стального полотна.

Соприкосновение с напоследнейшими результатами науки и людьми, извлекающими эти результаты как бы из ниоткуда на свет божий, энергичными, знающими, склонными к парадоксальному юмору людьми, удерживает на постоянной орбите некой планеты, начиненной идеями, замыслами, разработками. Однако, разогнавшись, воображение способно вырваться из плена этого сиятельного притяжения и лечь на самостоятельную трассу, взяв курс, так сказать, к собственной звезде. В моем случае такая трасса пролегла по сюжетам научно-фантастических рассказов.

Среди споров, гремевших некогда весьма впечатляюще, выделялся своей противоречивостью спор о роботах. Электронная техника сделала решительную заявку на создание устройств, действующих не хуже человека. Возникло роботоведение. И тут же народились всевозможные литературные сюжеты, «закрученные» на сверхчеловеческих способностях электроники. Причем многие из них акцентировали именно на угрозе, которая может исходить от электронных монстров будущего. «Не поработит ли нас поумневшее железо?» — об этом приходилось слышать и читать. «По реке утюг плывет до города Чугуева», — распевалось в частушках, а в дружеских эпиграммах громыhalo: «К черту ропот, я — робот!»

Мне же казалось, что среди всех этих «за» и «против» существует вполне компромиссный путь. Простой расчет руководил моим отношением к спору. Если роботам в качестве информации № 1, определяющей действие всех остальных информационных уровней кибернетической системы, вложить любовь к человеку, то автоматически снимается опасность драматического конфликта между роботами и человеком.

Такое положение не исключает развития неких непредвиденных осложнений в гамме этих отношений, как и любая взаимная любовь не исключает развода любящих существ и даже легкого скандала при этом, но уж глобальным ужасам тут не разгуляться. Итак, я не отрицал, что какой-то конфликт возможен. Но какой именно?..

Эти мысли требовалось оформить, сформулировать под одним заголовком. В каком же жанре? Взять интервью у видного ученого? Но где сыскать ученого, принимающего мою точку зрения? И тогда я взялся за свободное изложение картин из жизни роботов. Так появился первый научно-фантастический рассказ, за ним последовали и другие, составившие в 1967 году книгу «Аксиомы волшебной палочки».

Следующие сюжеты начали временами обнаруживать явную склонность к фантастике психологической, и тут юмористическая тональность, к которой привыкло перо, мешается с жесткой аранжировкой психологической прозы. Переживания героев научной фантастики обнаруживают свое земное происхождение.

«Жены у него не было, а была штанга, которую он ненавидел, как когда-то жену. Разлепляя по утрам веки, он видел прежде всего ее, штангу. Она была самой значительной вещью в комнате. И настроение пропадало. Ум требовал единоборства с мертвым металлом, заставлял толкать чугунные пуды вверх, чтоб не дрябли мышцы, а организм не желал мучительной нагрузки. И вот раньше по утрам его поднимала жена, теперь он поднимал штангу». («Золотые пули для привидения»)

Драма идей, движущая наукой, всегда будет откликаться драмой сердца. Однако фантастика, по-моему, обладает повышенными привилегиями на жизнерадостность. Она живет не только в сфере эмоций, естественно подверженных частым приливам и отливам; она неотделима от жизни обостренного разума, во все века напряженно, непрерывно развивающегося. Здесь всегда прилив, всегда наступление, и пусть, как во всяком наступлении, солдаты его гибнут, но гибнут на дорогах победы, а не поражения. Поэтому-то в потенции своей фантастика является, наверное, одним из самых оптимистических жанров литературы.

Жизнеспособность фантастики подтверждается многими предсказаниями, сделанными на ее страницах и сбывшимися впоследствии. Книги ее — курс предвидимой истории, и к ним точно подходят слова Аристотеля, адресованные истории вообще:

«Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей».

Но жизнеспособность рассказа, повести, романа — это жизнеспособность его героев. Кто же они такие, эти герои писателя? Это он сам, его всевозможное «я», медленно складывающееся из всех остальных букв и всегда остающееся единственной, последней, но самой значимой и близкой каждому буквой алфавита. Завидовать, однако, присутствию этого «я» художника не рекомендуется: как известно, оно и бывает той собакой, на которой художник проводит свои хирургические эксперименты.

Понятно, что судьба литературных героев находится в большой зависимости от судьбы писателя, характера его конкретных связей

с жизнью, пережитой им любви, привязанностей, жилищных условий, наконец. Значит, пожелать доброго героям фантастического эпоса — это то же, что пожелать удачи самим писателям-фантастам.

Я родился в середине тридцатых годов, когда наша страна вдруг (для внешнего мира) осуществила ряд удивительно смелых научных экспериментов и экспедиций, цикл грандиозныхстроек. Дух тех лет живет в моем поколении. И, смею надеяться, движет фантастикой наших дней.

Вл. Григорьев

СОДЕРЖАНИЕ

Образца 1919-го	5
Рог изобилия	40
Ноги, на которых стоит человек	58
Школа Времени	63
Дважды два старика робота	81
А могла бы и быть...	90
Реконструкция	98
Коллега — я назвал его так	105
Свои дороги к солнцу	121
По законам неточных наук	129
Транзистор Архимеда	139
Аксиомы волшебной палочки	151
«Сервис Максимум» — такая программа	160
Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты!	172
Вложено при рождении	196
От автора	216

Григорьев В. В.
Г83 Рог изобилия. (Сборник научно-фантастических рассказов.) М., «Молодая гвардия», 1977.

224 с. с ил. (Б-ка советской фантастики).

Уже после первых рассказов В. Григорьева его имя стало хорошо известно любителям фантастики как в нашей стране, так и за рубежом. Необычайность научных и технических идей, отточенность литературной формы характерны и для новой книги писателя. Ее герои — наши современники, наши предки и потомки, инопланетяне, роботы — нарисованы живо, увлекательно, с юмором, они живут в мире романтики и высокого поиска.

Р2

Г 70302—329
078(02) — 77 без объявл.

ИБ № 306

Владимир Васильевич Григорьев
РОГ ИЗОБИЛИЯ

Редактор **В. Жигунов**
Художник **А. Соколов**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Р. Грачева**
Корректоры **Н. Павлова, Г. Трибунская**

Сдано в набор 15/VI 1977 г. Подписано к печати 13/XII 1977 г.
А05154. Формат 70×108^{1/32}. Бумага № 2. Печ. л. 7 (усл. 9,8).
Уч.-изд. л. 9,8. Тираж 75 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 1044.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



60 коп.

1-
№ 82483
1980 г.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

